

БОЛЬШИЕ ФАЕНТОВЫЕ КНИГИ

Урсула
Ле Гуин

ПРОКЛЯТЫЙ ДАР
ГОЛОСА
ПРОЗРЕНИЕ

« А З Б У К А »

Фантастика и фэнтези. Большие книги

Урсула Ле Гуин

**Проклятый дар.
Голоса. Прозрение**

«Азбука-Аттикус»

2004, 2006, 2007

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-445

Ле Гуин У. К.

Проклятый дар. Голоса. Прозрение / У. К. Ле Гуин — «Азбука-Аттикус», 2004, 2006, 2007 — (Фантастика и фэнтези. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22622-7

Горцы Верхних Земель, на вид обычные крестьяне, обладают магическими способностями, как благотворными, так и опасными. Но при этом они никак не могут выбиться из нужды и живут в постоянном страхе: что, если одна из семей обратит против другой свой губительный дар?.. Мирный город Ансул гордился своими библиотеками, школами и храмами, пока его не захватили альды, фанатичные варвары-демоноборцы. Считая культуру бесовским наваждением, они даже чтение и письмо запретили под страхом смертной казни. Но человеку, которого целый год держали в тюрьме и увечили пытками, удалось сохранить несколько драгоценных книг... Юный Гэвир предвидит будущее, но не может предотвратить катастрофу, грозящую его миру – миру, в котором он вырос рабом. Обретя свободу, которой никогда не желал, он отправляется в неизвестность... Вошедший в сборник роман «Голоса» удостоен в 2005 году премии американского ПЕН-центра, а роман «Прозрение» – премии «Небьюла» в 2008 году.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-445

ISBN 978-5-389-22622-7

© Ле Гуин У. К., 2004, 2006, 2007

© Азбука-Аттикус, 2004, 2006, 2007

Содержание

Проклятый Дар	8
Глава 1	8
Глава 2	14
Глава 3	21
Глава 4	28
Глава 5	35
Глава 6	41
Глава 7	46
Глава 8	53
Глава 9	60
Глава 10	67
Глава 11	74
Глава 12	80
Глава 13	87
Глава 14	93
Глава 15	101
Глава 16	110
Глава 17	116
Глава 18	119
Голоса	122
Глава 1	123
Глава 2	129
Конец ознакомительного фрагмента.	130



Урсула Ле Гуин

Проклятый дар. Голоса. Прозрение

Ursula K. Le Guin

ANNALS OF THE WESTERN SHORE:

Gifts copyright © 2004 by Ursula K. Le Guin

Voices copyright © 2006 by Ursula K. Le Guin

Powers copyright © 2007 by Ursula K. Le Guin

This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency

All rights reserved.

Иллюстрации Сергея Григорьева

© И. А. Тогоева, перевод, 2007, 2008, 2009

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство АЗБУКА®

Проклятый Дар



Глава 1

Он был совсем несчастным, когда приблудился к нам. Пропавший человек, и, боюсь, те серебряные ложки, которые он у нас украл, тоже его не спасли. Особенно там, куда он отправился, сбежав из Каспроманта. И все же путь нам указал именно он, этот жалкий беглец.

Это Грай сказала, что он – беглец. Она почему-то сразу решила, что он совершил у себя на родине нечто ужасное, убийство или предательство, и теперь скрывался от возмездия. И правда, что еще могло привести сюда жителя Нижних Земель?

– Да простое незнание, – возразил я ей. – Он ничего о нас не знает, вот и не боится нас.

– Нет, он сказал, что люди его предупреждали. Говорили, чтоб не ходил в те края, где колдуны и ведьмы живут.

– Но он ведь ничего не знает о том, на что мы способны, – сказал я. – Считает это пустой болтовней, слухами, сказками...

Несомненно, правы были мы оба. Конечно же, Эммон был беглецом. И хорошо еще, если его погнала сюда честно заработанная слава вора или просто скука. Он был похож на щенка гончей – такой же беспокойный, бесстрашный, любопытный и непоследовательный – и повсюду совал свой нос. Вспоминая теперь, какой у него был акцент и какие странные обороты речи, я понимаю, что пришел он издалека, с самого юга, из краев более далеких, чем даже Алгаланда, где истории о Верхних Землях кажутся просто выдумками, старинными легендами о том, как в далеких северных краях, среди покрытых вечными снегами гор живет племя злых колдунов, которые творят немыслимые вещи.

Если бы Эммон поверил тому, что ему рассказывали в Даннере, он никогда бы не решился пойти в Каспромонт. А если бы он поверил нам, то никогда не отправился бы еще выше в горы. Ему очень нравились всякие старинные истории, и он всегда внимательно слушал то, что рассказывали ему мы, но вряд ли он нам верил. Ну что ж, городской человек, к тому же из образованных, и немало бродил на своем веку по Нижним Землям. Мир он, можно сказать, повидал. А кем были мы с Грай? Что мы знали о мире, слепой мальчик и молчаливая девочка шестнадцати лет, всю жизнь окруженные дикими предрассудками, нищетой и убожеством забытых богом и людьми горных ферм, которые мы так гордо называли своими владениями? А он – в своей ленивой доброте – побуждал нас рассказывать о тех великих дарах, которыми владеем мы, жители Верхних Земель, и при этом отлично видел, какую жалкую жизнь мы вынуждены владеть, сколько на фермах искалеченных, отсталых, темных людей, сколь сильно наше невежество, сколь мало мы знаем о том, что лежит за пределами этих унылых гор и холмов. Наверное, слушая все это, он про себя смеялся: вот уж воистину великими дарами обладают эти бедняги!

Мы с Грай очень боялись, что, покинув нас, он отправился в Геремант. Тяжело было думать о том, что он, возможно, и сейчас еще там – живой, но угодивший в рабство; и ноги его скручены спиралью, а вместо лица морда чудовища, если так захотелось Эррою, или же он совсем ослеп, по-настоящему (ведь я-то был слеп как раз не по-настоящему). Ведь Эррой ни за что не стал бы терпеть легкомысленные выходки Эммона и его нахальное высокомерие. Наверняка и часа бы не вытерпел!

Я старался, чтобы Эммон и моему-то отцу, Каноку, не слишком часто попадался на глаза и не слишком распускал язык в его присутствии, потому что терпения у Канока хватило бы ненадолго, да и нрав у него был суровый. Однако я совсем не боялся, что отец станет пользоваться своим даром без достаточно веской на то причины. Впрочем, он обращал на Эммона крайне мало внимания. Как и на всех прочих. С тех пор как умерла моя мать, он целиком был поглощен своим горем и затаенной жадой мести, лелея эту боль, точно дитя. Грай, которая знала все птичьи гнезда вокруг, в том числе и орлиные, однажды видела самца грифа, который сам высиживал два больших серебристых яйца в гнезде на высоком утесе, после того как какой-то пастух убил его подругу, когда она полетела охотиться для них обоих. И теперь гриф высиживал своих будущих детенышей один, не сходя с гнезда и умирая от голода, – вот так и мой отец «высиживал» свою месть.

Для нас с Грай Эммон стал настоящей находкой. Точно яркое неведомое существо, он ворвался в наш мрачный мир. Он щедро утолял наше любопытство, ибо, как оказалось, мы умирали от духовного голода, хотя раньше об этом не подозревали.

Впрочем, рассказывать о Нижних Землях он не любил. Нет, он всегда отвечал на любой мой вопрос, но ответы его зачастую были шутивными, или уклончивыми, или просто непонятными. Возможно, в его прошлой жизни было немало такого, что он хотел бы скрыть; к тому же он не умел так остро все подмечать и так ярко рассказывать о любой мелочи, как это умела Грай. Когда Грай была моими глазами, она могла, например, в точности описать, как выглядит

новорожденный бычок, какая у него курчавая шкурка с синеватым отливом, какие узловатые ножки и маленькие мохнатые бугорки на месте будущих рогов, так что я почти видел его. А когда я просил Эммона рассказать о городе Деррис-Уотере, он говорил, что городишко так себе, торговли там почти никакой, жизнь скучная. Но я-то знал – по рассказам матери, – что в Деррис-Уотере высокие дома из красного камня, и длинные улицы, и выложенные сланцевой плиткой лестницы, ведущие к причалам, где всегда полно речных судов; что там есть птичий рынок, и рыбный рынок, и рынок, где торгуют всякими специями, благовониями и медом, и блошинный рынок, где торгуют всяким старьем, и рынок, где торгуют только новой одеждой. А еще мать говорила, что в Деррис-Уотере устраивают огромные гончарные ярмарки и на них съезжается очень много людей из верховий и из низовий реки Тронд и даже с далеких океанских берегов.

Может, Эммону просто не повезло, когда он пытался воровать в Деррис-Уотере?

В общем, как бы то ни было, а он всегда предпочитал сам задавать нам вопросы, а потом, устроившись поудобнее, внимательно слушать наши рассказы – в основном мои. Я-то был готов рассказывать, были бы слушатели. А Грай всегда старалась помалкивать и наблюдать – такой уж у нее был характер, – но Эммон и ее мог запросто в разговор втянуть.

Сомневаюсь, что он понимал, как ему повезло, когда он наткнулся на нас. Впрочем, он весьма ценил наше гостеприимство и то, как мы старались помочь ему скоротать жестокую дождливую зиму. Он явно жалел нас и, несомненно, очень скучал. И был ужасно любопытным.

– Ну и что такого особенно страшного в умении этого парня из Гереманта? – насмешливо спрашивал он, и я тут же изо всех сил начинал убеждать его в том, что сказал чистую правду. У нас о таких вещах, вообще-то, болтать не полагалось – даже промеж себя. А уж тем, кто обладал даром, и вовсе не к лицу было хвастаться или кого-то обсуждать.

– Их род обладает даром твистинга, – сказал я.

– Они что же, крутиться как-то особенно умеют? Как в танце?

– Нет. – Нужные слова оказалось подобрать очень трудно. Да и произнести их вслух – тоже. – Они людей скручивают.

– Скручивают? Может быть, заставляют их вертеться?

– Нет. Скручивают им руки. Или шею. Или все тело возьмут да и перекрутят. – Я, как мог, изогнулся, пытаясь показать ему, как это бывает, но чувствуя некоторое беспокойство: уж больно опасную тему мы затронули. Потом я догадался привести пример: – Ты видел старого Гоннена? Того лесоруба, что живет у дороги за Ноб-Хиллом? Мы вчера как раз мимо проходили. Грай тебе еще его имя назвала.

– Такой весь согнутый, как шелкунчик?

– Да. Так вот, это с ним брантор Эррой сотворил!

– Значит, это он его чуть ли не вдвое согнул? А зачем?

– Наказал. Сказал, что застиг его на месте преступления, когда он в землях Гере лес воровал.

Некоторое время Эммон молчал, потом задумчиво промолвил:

– Ревматизм тоже может иногда человека так скрутить...

– С Гонненом это случилось, когда он еще совсем молодым был.

– Так ты сам этого не видел? И не помнишь, как это произошло?

– Нет, – сказал я, раздосадованный его легкомысленной недоверчивостью. – Зато он это хорошо помнит! И мой отец тоже. Гоннен ему рассказывал. Он говорил, что в Геремант тогда даже не заходил, а лес рубил поблизости, на нашей земле. Просто брантор Эррой так заорал, когда его увидел, что он испугался и побежал куда глаза глядят. А на спине охапку сучьев нес. А потом вдруг упал, и, когда поднялся, оказалось, что спина у него вся прямо-таки перекручена и на ней вырос горб. Горб у него и сейчас есть. А жена его говорит, что каждый раз, вставая с постели, он прямо-таки криком кричит от боли.

– И как же брантору удалось с ним такое сотворить?

Слово «брантор» Эммон впервые услышал у нас; он говорил, что у них, в Нижних Землях, такого слова нет. Брантор – это хозяин или хозяйка земель, поместья или целого края, а также самый главный человек в семье, обладающий самым сильным даром. Мой отец, например, был брантором Каспроманта. А мать Грай – брантором семейства Барре из Роддманта, а отец Грай – брантором всего Роддманта и главным в семействе Родд. Мы с Грай были наследниками этих семейств, орлятами, подрастающими в больших гнездах.

Я не был уверен, что мне следует ответить на вопрос Эммона. Тон у него, правда, насмешливым не был, но я все же сомневался, стоит ли вообще хоть как-то распространяться о наших тайных возможностях.

Эммону ответила Грай.

– Брантор просто посмотрел на него, – сказала она очень тихо. Теперь, когда я был слеп, мне ее тихий голос всегда казался чем-то вроде легкого ветерка, играющего в листве деревьев. – А потом указал на него левой рукой или только указательным пальцем левой руки и, возможно, произнес его имя, прибавив еще одно-два слова. И все.

– Какие же это слова?

Грай некоторое время молчала, потом, слегка пожав плечами, сказала:

– Это дар семейства Гере, а не нашей семьи. Мы не знаем, как он действует.

– Он?

– Ну да, их дар.

– А как действует твой дар? Что можешь делать ты? – спросил Эммон. Теперь он стал совсем серьезным, но чувствовалось, что он прямо-таки сгорает от любопытства. – Твой дар, наверное, имеет отношение к охоте? Я прав?

– Дар Барре – это умение призывать, – сказала Грай.

– Призывать? Кого же вы призываете?

– Животных.

– Оленей? – После каждого его вопроса возникала небольшая пауза, вполне достаточная для кивка. Я представлял себе лицо Грай во время этого ответного кивка – напряженное, замкнутое. – Зайцев? Диких свиней? Медведей? Ну хорошо, ты призовешь медведя, и он придет к тебе, и что ты будешь с ним делать?

– Охотники убьют его. – Грай помолчала и тихо прибавила: – Но я не призываю зверей, чтобы их убивали охотники.

И голос ее, когда она это сказала, стал похож не на шелест листьев, а на свист ветра в скалах.

Наш друг вряд ли, конечно, понял, что она имела в виду, но тон ее, видимо, несколько его охладил. Он не стал больше к ней приставать и повернулся ко мне:

– Ну а ты, Оррек? Каков твой дар?

– У меня тот же дар, что и у моих предков, – сказал я. – Дар нашего рода, рода Каспро, называется «разрушение связей». И я ничего не скажу тебе о нем, Эммон. Прости.

– Это ты должен простить мою бестактность, Оррек! – возразил Эммон немного удивленно, и голос его звучал так тепло и ласково, с такими мягкими интонациями, свойственными жителям Нижних Земель, что я сразу вспомнил мать, и глаза мои, скрытые ото всех под повязкой, налились слезами.

То ли Эммон, то ли Грай разожгли огонь в камине, и я почувствовал, как приятное тепло коснулось моих застывших ног. Мы устроились, как всегда, у большого камина в гостиной Каменного Дома Каспро и сидели на каменных скамьях, составлявших как бы одно целое с облицовкой камина. Вечер был холодный, какие часто бывают в конце января. Ветер в каминной трубе выл и ухал, точно там поселились гигантские совы. Женщины со своей пряжей тоже собрались у камина, но с противоположной его стороны, где было больше света. Порой они

перебрасывались парой слов или негромко затягивали какую-то длинную заунывную песню, какие обычно поют за подобным занятием, а мы трое в своем уголке, у южной стены гостиной, продолжали беседу.

– Ну а каковы дары остальных жителей вашего края? – спросил неутомимый Эммон. – О них-то, надеюсь, тебе можно рассказать? На что еще способны здешние бранторы, живущие в таких же каменных замках, как ваш? Или у них иные жилища? Какими силами или талантами владеют они? Из-за чего их следует опасаться?

В его словах мне всегда слышалось какое-то легкое недоверие, неизменно пробуждавшее во мне желание сразу же ему возразить.

– Женщины рода Корде могут ослепить человека, – сказал я, – или сделать его глухим, или отнять у него речь.

– Ну это уж совсем никуда не годится! – возмутился Эммон. Мои слова явно произвели на него впечатление.

– Некоторые из мужчин рода Корде тоже обладают этим даром, – промолвила Грай.

– А твой отец, Грай, брантор Роддманта, обладает тем же даром, что и твоя мать?

– Семейство Родд владеет даром ножа, – сказала Грай.

– И что это означает?

– Они могут одним лишь взглядом послать нож человеку прямо в сердце, или перерезать ему горло, или изувечить его этим ножом до неузнаваемости. Лишь бы этот нож находился для них в пределах видимости.

– Клянусь именами всех сыновей Чорна! Вот это фокус! Ничего себе! Я рад, что свой дар ты унаследовала от матери!

– Я тоже этому рада, – тихо сказала Грай.

Эммон так долго квохтал от восторга, что я лишь с огромным трудом подавил желание немедленно рассказать ему о том, на что способны члены моей семьи. Однако рассказывать я стал о семействе Олм, способном зажечь огонь в любом месте, которое увидят и на которое укажут; и о Каллемах, которые одним словом и жестом могут сдвинуть с места любой тяжелый предмет, даже дом или холм. Я рассказал ему, что фамильный дар Моргов – это способность предвидеть события и читать чужие мысли, так что они всегда могут узнать, о чем ты думаешь. Но тут Грай возразила, сказав, что Морги видят только чужие болезни или слабости, но согласилась со мной в том, что Морги все же соседи весьма неприятные, хотя и не слишком опасные. Впрочем, они и сами сознают это, а потому стараются держаться от других подальше и предпочитают оставаться в своих далеких и бедных северных долинах, и о них известно довольно мало, если не считать того, что они умеют выращивать отличных коней.

Затем я рассказал Эммону то, о чем слышал всю свою жизнь, – о крупных землевладельцах Хелварманта, Тиброманта, Барреманта и о воинах из рода Каррантагов, чьи владения расположены высоко в горах, на северо-востоке. Дар Хелваров называется «очищение» и считается родственным дару нашего рода, так что я о нем особенно распространяться не стал. Дар Тибро называется «узда», а дар Барре – «метла». Человек из Тиброманта запросто мог лишить тебя воли и заставить подчиниться любому своему желанию; это и называлось уздой, потому что тебя водили, как коня в поводу. А женщина из рода Барре могла начисто лишить человека способности соображать, сделать его полным идиотом, лишенным даже способности говорить; этот дар назывался «метла», и такого полного «выметания» из головы врага всех мыслей они достигали всего лишь взглядом, жестом да несколькими словами.

Но об этих дарах даже и мы с Грай знали только понаслышке. Здесь, в Верхних Землях, не было никого из представителей этих родов; и бранторы Каррантагов также не желали иметь с нами ничего общего, хотя их люди то и дело шныряли по нашим горам в поисках рабов.

– А вы, значит, отбиваетесь от них, управляя ножами, огнем и тому подобными вещами? – сказал Эммон. – Теперь я понимаю, почему ваши жилища расположены так далеко

друг от друга! А что за люди живут на западе? В том обширном крае, который называется, кажется, Драммант? Их брантор тоже чем-то опасен? Мне бы хотелось об этом знать, прежде чем я случайно повстречаюсь с каким-нибудь представителем этого семейства.

Я промолчал, но Грай ответила Эммону:

– Дар брантора Огге – это медленное лишение сил.

Эммон рассмеялся. Откуда ему было знать, что уж над этим-то смеяться никак не стоит.

– Ну вот, час от часу не легче! – воскликнул он. – Ладно, беру назад свои слова насчет тех людей, что способны видеть чужие внутренности и слышать чужие мысли. В конце концов, их дар ведь может оказаться и весьма полезным.

– Только не во время налета, – заметил я.

– Вы что же, все время друг с другом воюете?

– Естественно.

– А зачем?

– Если не будешь драться, над тобой возьмут верх и твой род утратит чистоту, – заявил я презрительно, удивляясь его невежеству. – Ведь для того людям и даны различные дары – для защиты своих владений и своего достоинства, для охраны своего рода. Если бы наши предки не могли себя защитить, мы были бы уже лишены фамильного дара. Мы утратили бы его, смешиваясь с представителями других родов, с простолюдинами или даже с каллюками... – Я заставил себя умолкнуть. Это невольно сорвавшееся с губ слово было презрительной кличкой – так у нас называли жителей Нижних Земель, не обладавших никакими магическими способностями, и раньше я это слово никогда вслух не произносил.

Потому что моя мать тоже была из каллюков. В Драмманте, например, ее все так и называли.

Я слышал, как Эммон встал и принялся помешивать кочергой угли в камине. Потом вернулся на прежнее место и, помолчав, спросил:

– Значит, эти ваши способности, эти дары передаются по наследству, от отца к сыну, как, скажем, курносый нос?

– И от матери к дочери, – сказала Грай, а я промолчал.

– То есть вам приходится заключать браки внутри своего рода, чтобы сохранить свой дар? Ну это я, допустим, могу понять. Но неужели дар сразу исчезнет, если кто-то не найдет себе пару среди своих дальних родственников?

– У Каррантагов этой проблемы вообще нет, – сказал я. – У них и земля богаче, и владения обширней, и людей там живет значительно больше. Там брантор возглавляет десять, а то и больше семей, принадлежащих к одному роду и проживающих на одной территории. А у нас семьи поменьше. И дар действительно может ослабеть или исчезнуть, если слишком часто будут заключаться браки с представителями других родов. Хотя, если дар действительно силен, он все равно сохраняется и передается по наследству – от матери к дочери, от отца к сыну.

– Итак, – Эммон повернулся к Грай, – умение зачаровывать животных ты унаследовала от матери, бранторши вашего рода? – Он придал этому слову форму женского рода, что звучало на редкость нелепо. – А Оррек свой дар получил от брантора Канок? Нет-нет, я больше ни слова не спрошу тебя о твоём даре, Оррек! Но я вот что хочу спросить: скажи мне чисто по-дружески, ты слеп от рождения? Или это ведьмы из Кордеманта, о которых ты говорил, с тобой такое сотворили? Во время очередной феодальной междоусобицы или грабительского налета?

Я не знал, как избежать ответа на этот вопрос, но уклониться не сумел и сказал:

– Нет. Это мой отец запечатал мне глаза.

– Твой отец? Тебя ослепил твой отец?

Я кивнул.

Глава 2

Понять, что твоя жизнь – это всего лишь некая история, которую потом узнают другие, особенно полезно, когда ты еще только на середине жизненного пути, ибо тогда ты постараешься прожить свою жизнь хорошо. Но глупо было бы думать, что теперь тебе известно и как пойдет твоя жизнь, и как она закончится. Это ты узнаешь только тогда, когда жизнь твоя действительно подойдет к концу.

Но даже если все уже закончилось, даже если речь идет о чьей-то чужой жизни, о жизни того, кто жил сто лет назад, чью историю я слышал уже много-много раз, каждый раз, слушая ее снова, я боюсь и надеюсь, словно и до сих пор не знаю, как именно она должна закончиться. Я как бы снова и снова проживаю эту историю, и она снова и снова оживает во мне. Между прочим, это очень даже неплохой способ пережить смерть. История человеческой жизни – это, как полагает смерть, такая штука, которой именно она, смерть, кладет конец. Но смерть не в силах понять, что хоть эти истории и кончаются смертью, но не кончаются вместе с нею.

Истории других людей могут стать частью твоей собственной жизненной истории, ее основой, тем фундаментом, с которого произрастает твоя история. Так было, например, с той историей, которую мой отец рассказывал мне о Слепом Каддарде; и с историей налета моего отца на город Дьюнет; и с историями моей матери о жизни в Нижних Землях, а также с ее историями о тех временах, «когда Кумбело был королем».

Когда я думаю о своем детстве, я словно снова вхожу в зал Каменного Дома, снова сажусь на скамью у камина, или стою посреди нашего грязноватого двора, или захожу на конюшню Каспроманта, где мой отец всегда поддерживал идеальную чистоту. Я вижу себя в огороде вместе с матерью, которая собирает бобы, или с нею вместе у камина в ее маленькой гостиной, что в круглой башне; или мы с Грай вновь поднимаемся на вершину холма, открытую всем ветрам, и эти истории никогда не кончаются...

Высокий толстый посох из тисового дерева довольно грубой работы, рукоять которого была до черноты отполирована за долгие годы, всегда висел возле двери Каменного Дома в полутемной прихожей. Это был посох Слепого Каддарда. Трогать его запрещалось. Когда я впервые о нем узнал, то еще не доставал макушкой до его рукояти, но уже тогда часто подходил к нему и украдкой касался его ладонью – от этого у меня сладко замирало сердце, потому что делать это было запрещено и потому что история посоха была окутана тайной.

Наверное, думал я тогда, этот брантор Каддард – отец моего отца, ибо по малолетству еще не способен был погрузиться в глубины фамильной истории. Я знал только, что деда моего звали Оррек и меня называли в его честь. Так что в итоге получалось, что у моего отца было целых два отца. Но меня это почему-то ничуть не смущало, наоборот, казалось чрезвычайно интересным.

В тот день мы с отцом на конюшне чистили лошадей. Отец никому из слуг не доверял ухаживать за своими драгоценными лошадьми и меня начал этому учить, таская с собой на конюшню, когда мне было всего года три. Я помню, что взобрался на высокий табурет и старательно выбирал старую зимнюю шерсть из шкуры нашей чалой кобылы. Через некоторое время я спросил отца, который чистил большого серого жеребца Грейлага в соседнем стойле:

– А почему ты назвал меня именем только одного из своих отцов?

– А у меня был только один отец, – слегка удивившись, ответил он, – в честь которого я тебя и назвал. Почти у всех приличных людей бывает только один отец. – И он засмеялся. Отец мой смеялся нечасто, но тут я еще долго видел у него на губах суховатую улыбку.

– А кто же тогда брантор Каддард? – И вдруг, еще до того, как отец успел мне ответить, я сообразил: – Так он был отцом твоего отца!

– Отцом деда моего отца, – уточнил Канок, окутанный облаком пыли и лошадиной зимней шерсти. Я тоже вернулся к прежнему занятию, за что и был вознагражден – жжением в глазах, в носу и во рту, а также полосой чистенькой светло-рыжей летней шерсти шириной примерно с мою ладонь, появившейся на боку нашей славной Чалой, и тем явным удовольствием, с которым она это восприняла. Чала у нас была как кошка: стоило ее приласкать – и она тут же клала голову тебе на плечо. Но обниматься с ней мне было некогда; я оттолкнул ее и продолжил работу, пытаясь расширить замечательно яркую полосу у нее на боку. Что-то слишком много дедов и отцов, чтобы всех их можно было упомянуть одному человеку! – думал я.

Тем временем мой настоящий отец, Канок, подошел поближе к тому стойлу, где я трудился, и, вытирая вспотевшее лицо, стал наблюдать за мной. Я же, явно рисуясь, протаскивал гребень по шкуре слишком длинными и плавными движениями, чтобы от них была хоть какая-то польза, но отец мне никаких замечаний не делал. А потом, помолчав, сказал вот что:

– У Каддарда был самый сильный дар в нашем роду, да и на всех западных холмах, пожалуй. Самый сильный, какой помнит наша история. Каков наш дар, Оррек?

Я перестал работать, сошел со своей подставки – осторожно, потому что для меня она была очень высокой, да еще и стояла лицом к отцу. Когда он произнес мое имя, я встал и замер, глядя на него: так я делал всегда, с тех пор как себя помню.

– Наш дар – это разрушение связей, – сказал я.

Он кивнул. Он всегда был со мною снисходительно-нежен. У меня никогда не возникало ни малейшего страха, что он может причинить мне хоть какое-то зло. Подчиняться ему хотелось не всегда, однако, подчинившись ему, я всегда испытывал несказанное удовольствие. И наградой мне всегда служила его удовлетворенная улыбка.

– И что это значит?

Я ответил так, как он учил меня:

– Это значит, что мы способны погубить, разрушить, уничтожить любые связи в человеческом теле и в любом предмете.

– Ты видел, как я применяю свой дар?

– Я видел, как ты заставил плоску разлететься на мелкие кусочки.

– А ты видел когда-нибудь, что я могу сделать с живым существом?

– Я видел, как ты посмотрел на иву и она стала черной и совсем мягкой.

Я надеялся, что на этом он и остановится, но на этот раз он почему-то все продолжал задавать свои вопросы:

– А ты видел, во что я могу превратить животное?

– Я видел, как ты... ты... заставил крысу умереть.

– Как же это было? – Голос отца был тих и безжалостен.

Это случилось зимой. У нас во дворе. Крыса угодила в ловушку. Молодая крыса. Она свалилась в бочку для дождевой воды и не смогла оттуда выбраться. Дарре, наш дворовый, первым увидел ее. Мой отец сказал: «Подойди-ка сюда, Оррек». Я подошел, и он велел: «А теперь стой спокойно и смотри». Я замер и стал смотреть. Я даже шею вытянул, чтоб видеть, как эта крыса плавает в бочке; воды там было примерно до половины. Мой отец встал над бочкой, пристально посмотрел на крысу, шевельнул левой рукой и что-то еле слышно произнес или просто резко выдохнул воздух, не знаю. И крыса скорчилась, вздрогнула и всплыла, повернувшись на бок. Мой отец правой рукой выудил ее из воды. Она лежала у него на ладони бесформенным комком, точно мокрая тряпка. Но я видел ее хвост и лапки с крохотными коготками. «Коснись ее, Оррек», – сказал отец. Я коснулся. Она была совершенно мягкой, точно лишилась костей и стала похожа на мешочек с жидкой кашей. «Я разрушил в ее теле все связи», – сказал отец, пристально на меня глядя, и я испугался, встретившись с его взглядом.

– Ты разрушил в ее теле все связи, – повторил я теперь, вернувшись из того дня в конюшню, и во рту у меня сразу пересохло; мне было страшно смотреть отцу в глаза.

Он кивнул.

– Таков мой дар, – сказал он, – и у тебя он тоже будет. И постепенно я научу тебя им пользоваться. Что значит – уметь пользоваться своим даром, Оррек?

– Это значит – управлять им глазами, рукой, дыханием и волей. – Я сказал так, как он меня учил.

Он кивнул, явно удовлетворенный моим ответом, и я вздохнул с облегчением. Однако отец и не думал прекращать очередной урок.

– Посмотри на этот комок шерсти, Оррек, – велел он. Спутанный комок лошадиной шерсти валялся на полу возле моей ступни. Я вытащил его из гривы чалой кобылы и бросил на соломенную подстилку. Сперва я думал, что отец станет меня бранить за то, что я мусорю в стойле, но у него на уме было нечто совсем иное.

– Смотри только на него. Только на него, Оррек. Никуда глаз не отводи. Сосредоточь все свое внимание только на этом клочке шерсти.

Я подчинился.

– Теперь шевельни рукой... так... – Отец зашел сзади и осторожно приподнял мою левую руку – всю, от плеча до кисти, – пока мои дрожащие от напряжения пальцы не указали точно на комок шерсти. – Так и держи руку. А теперь повторяй за мной, но постарайся сказать это не голосом, а как бы одним дыханием. – И он прошептал что-то, на мой взгляд лишенное всякого смысла, и я повторил это за ним, держа руку так, чтобы она указывала на комок шерсти, и не сводя с этого комка глаз.

Сперва я ничего не заметил; все осталось по-прежнему. Потом Чалая вздохнула, переступила с ноги на ногу, и я услышал, как ветерок шевельнулся за дверью конюшни, а спутанный клочок шерсти на полу слегка сдвинулся с места.

– Он движется! – вскричал я.

– Это всего лишь ветер, – мягко возразил отец, и в голосе его послышалась улыбка. Он вообще как-то приободрился, даже плечи расправил. – Погоди немного. Тебе еще и шести нет.

– Тогда ты сам это сделай, отец! – потребовал я почему-то обвиняющим тоном, страшно взволнованный, даже сердитый. – Давай, уничтожь его!

Я, по-моему, даже не заметил, шевельнул ли он рукой, вздохнул ли. Спутанная шерсть, валявшаяся на полу, вдруг распушилась, расправилась, затем превратилась в горстку пыли и исчезла, а вместо нее на полу осталось лишь несколько чистых длинных светло-рыжих волосков.

– Ничего, наш дар придет и к тебе, – сказал Канок. – Он очень силен в нашем роду. Но сильнее всего он проявился в Каддарде. Сядь-ка. Ты уже достаточно большой, чтобы услышать его историю.

Я взобрался на свой табурет. А отец так и остался стоять в дверях. Он был худой, темноволосый, с голыми ногами, в тяжелом черном килте и в короткой куртке, какие носят у нас в горах. Его темные глаза ярко горели на перепачканном лице. Руки у него тоже были перепачканы, но все равно очень красивы – сильные, спокойные, не суетливые. Говорил он тихим голосом, но все равно сразу чувствовалось, как сильна его воля.

И я узнал от него историю Слепого Каддарда.

– Каддард проявил свой дар раньше всех в нашем роду, – сказал мой отец, – и раньше всех детей в самых знатных семьях рода Каррантагов. В три года он порой бросит взгляд на какую-нибудь свою игрушку – и игрушка разваливается на куски; он мог развязать взглядом любой узел. А в четыре года он сумел защитить себя от бросившейся на него собаки; собака испугала его, и он уничтожил ее. Как я – ту крысу.

Канок помолчал, ожидая, что я кивну в знак того, что все понял.

– Слуги его откровенно боялись, а его мать однажды сказала: «Пока его воля – это всего лишь воля ребенка, он представляет собой опасность для всех, в том числе и для нас самих».

Она тоже была из нашего рода, как и ее муж, Оррек; они были двоюродными братом и сестрой. И Оррек прислушался к словам жены. И они решили на три года завязать ребенку глаза, чтобы он не мог невольно воспользоваться своим даром. А пока стали учить его и всячески тренировать его волю. Как я сейчас учу и тренирую тебя. Учился Каддард хорошо. И в награду за безупречное послушание и отличные успехи ему была снова дарована возможность видеть. Повязку сняли, и Каддард вел себя очень осторожно, применяя свой великий дар только во время упражнений и только к таким вещам, которые не имели ни особого значения, ни особой ценности.

Лишь дважды в юности ему довелось по-настоящему продемонстрировать свою силу. Когда брантор Драмманта стал особенно часто угонять скот с чужих пастбищ, родители Каддарда специально пригласили соседа в Каспромонт, чтобы он мог полюбоваться тем, как мальчик, которому тогда было лет двенадцать, остановит в полете стаю диких гусей. Лишь взглянув в небо, Каддард заставил гусей упасть к своим ногам и улыбнулся гостю, словно сделал это, лишь желая его развлечь. «Острый глазок», – сказал Драм. И ни разу с тех пор не угнал ни одной коровы из нашего стада.

А когда Каддарду исполнилось семнадцать, из обширных земель Каррантагов к нам явился вооруженный отряд под предводительством брантора Тиброманта. Они охотились на рабов; Каррантагам были нужны мужчины и женщины для работы на новых полях, которые сперва еще предстояло расчистить. Жители Каспроманта сбежались в Каменный Дом в поисках защиты; они боялись попасть в рабство и до конца жизни в поте лица трудиться на чужого господина, не имея ничего своего, даже воли, и лишь выполняя его приказы, ибо брантор Тиброманта обладал даром узды и мог полностью подчинить себе любого. Отец Каддарда, Оррек, надеялся, что им удастся удержать оборону, но Каддард, не сказав ему ни слова, потихоньку ушел из дома и, держась опушки леса, выследил сперва одного горца, затем второго, потом еще одного и по очереди их уничтожил...

Я видел ту крысу. Шкурка с жидкой кашей внутри.

– Он подождал, пока остальные захватчики обнаружат тела погибших, – продолжал отец, – и, держа в руках флаг перемирия, вышел на склон холма и остановился там лицом к Долгой Меже. Он был совершенно один. И крикнул налетчикам: «Вы видели, что я сделал. Я находился от этих людей на расстоянии мили, а может, и больше. – Ему приходилось кричать громко, через весь луг, потому что захватчики спрятались за изгородью, выложенной из крупных камней на Долгой Меже. – Не прячьтесь за камнями, не поможет! – крикнул им Каддард и мгновенно превратил в пыль один из самых больших камней, за которым как раз прятался брантор Тиброманта. – Мой глаз остр и силен», – с удовлетворением заметил Каддард и стал ждать ответа. И брантор Тиброманта сказал: «Да, твой глаз остр и силен, Каспро». И Каддард спросил его: «Так вы, значит, пришли сюда, чтобы забрать наших людей в рабство?» И Тибро признался: «Да, нам очень нужны люди». И Каддард сказал: «Я дам вам двух человек, которые будут работать на вас, но как обычные работники, а не как рабы, которых вы оболванили с помощью вашего дара!» – «Хорошо, – сказал брантор Тиброманта, – это щедрый дар, и мы принимаем его и твои условия». И тогда Каддард вернулся домой, вызвал двух наших молодых серфов и отвел их к горцам, сказав, что некоторое время они будут работать на них. А Тибро он сказал: «Возвращайся теперь к себе в горы. Я не стану тебя преследовать».

И горцы ушли. И с тех пор никогда больше не совершали подобных налетов на наши владения.

Вот так Каддард Сильный Глаз прославился и стал известен каждому в Верхних Землях.

Отец умолк, давая мне возможность поразмыслить над тем, что я услышал. Через некоторое время я осторожно взглянул на него, желая узнать, можно ли уже задать ему мучивший меня вопрос. Похоже, было уже можно, и я спросил его о том, что мне хотелось знать больше всего:

– А тем нашим молодым серфам хотелось отправиться в Тибромант?

– Нет, – сказал отец. – И Каддарду не хотелось отправлять их на службу к другому господину и терять рабочие руки, которые и в Каспромманте всегда очень нужны. Но согласно обычаю, если ты применил свой дар, то должен что-то предложить тому, кто от твоего дара пострадал. Это очень важно. Запомни. Повтори, что я сказал.

– Очень важно подарить что-нибудь тому, кто пострадал от применения твоего дара.

Отец одобрительно кивнул.

– Дар от дара, – подтвердил он еле слышно. – Ну а через какое-то время старый Оррек отправился со своей женой и слугами на верхнюю ферму и навсегда покинул Каменный Дом, оставив его своему сыну Каддарду, который и сменил его на посту брантора Каспромманта. И наши владения процветали. Говорят, в те дни на Каменистых Холмах одних овец насчитывалось тысяча голов. А наши белые быки славились на всю округу. Даже из Дьюнера и Даннера приходили люди, желая заранее заключить с нами сделку на покупку этих бычков. Каддард женился на женщине из рода Барре, уроженке Драмманта. Семедан ее звали, и свадьба у них была поистине великолепная. Говорят, Драм хотел, чтобы на Семедан женился его собственный сын, но она ему отказала, несмотря на всю власть и богатство Драмов, и вышла за Каддарда. На их свадьбу люди собрались со всего Западного края.

Канок умолк и шлепнул по крупу чалую кобылу, нечаянно задевшую его своим спутанным хвостом. Кобыла шарахнулась и стала тыкаться в меня мордой, словно прося, чтобы я еще повычесывал из нее старую шерсть и колючки.

– Семедан обладала даром, свойственным ее роду, – снова заговорил отец. – Она ходила с Каддардом на охоту и подманивала оленей, лосей и диких свиней. У них родились дочь Ассал и сын Канок. И все шло хорошо. Но через несколько лет случилась страшно холодная зима, да и лето оказалось холодным и засушливым. Даже трава не уродилась, и на пастбищах скоту не хватало корма. А зерновые и подавно не удались. Среди наших белых быков начался падеж. И за один сезон погибло почти все поголовье этого замечательного скота. И среди людей тоже свирепствовали болезни. Семедан родила мертвого ребенка и долго болела после этого. Засуха продолжалась целых два года, и наше хозяйство совсем пришло в упадок. И Каддард ничего не мог поделать. Природа ему подчиняться не желала. И он жил, снедаемый бессильным гневом и отчаянием.

Я следил за лицом отца. Горе, отчаяние, гнев сменяли друг друга на его лице, точно перед глазами у него вновь вставало то, о чем он рассказывал мне.

– Наши несчастья привели к тому, что люди Драмманта стали вести себя все более нагло; они принялись совершать налеты и грабежи, а однажды выкрали отличного жеребца с нашего западного пастбища. Каддард погнался за конокрадами и настиг их на полпути к Драмманту. Злой и распаленный преследованием, он не сумел сдержать свою силу и уничтожил их всех. Их было шестеро, и один из них оказался племянником брантора Драмманта. Но Драм не мог призвать к кровной мести, потому что его люди откровенно занимались воровством и выкрали у нас лучшего коня. Но этот случай положил начало страшной ненависти между бранторами наших земель.

Да и наши люди после этого случая стали бояться бешеного нрава Каддарда. Если его не слушалась собака, он тут же ее уничтожал. Случайно промахнувшись на охоте, он уничтожал всю растительность вокруг того места, где скрывалась дичь, и деревья и кусты долго еще стояли почерневшими, мертвыми. Один пастух как-то осмелился дерзко ответить Каддарду, и тот в гневе изувечил ему всю руку до плеча. Дети в страхе разбегались, лишь завидев его тень.

Тяжелые времена и в семье порождают ссоры. Как-то раз Каддард стал упрашивать жену пойти с ним на охоту и подманить для него зверей. Она отказывалась, говоря, что нездорова. Он стал требовать, сердито говоря: «Идем. Я должен кого-нибудь подстрелить, в доме совсем не осталось мяса». Но Семедан заупрямилась и сказала: «Иди и охотись. А я не пойду. Я плохо

себя чувствую». И, отвернувшись от мужа, заговорила о чем-то со своей служанкой, которую очень любила. Это была девочка лет двенадцати, которая помогала ей ухаживать за детьми. Каддард пришел в ярость. Он встал перед ними и заявил: «Делай, что я говорю, или и с тобой будет то же!» А потом глазами, рукой, дыханием и усилием воли ударил эту девочку, и бедняжка так и осела на пол, точно вдруг лишившись всех своих костей.

Громко вскрикнув, Семедан упала возле девочки на колени, увидела, что та мертва, и гневно воскликнула, повернувшись к Каддарду: «Ну, бей! Что, меня-то небось не решишься уничтожить?» И она так презрительно на него посмотрела, что он, не помня себя, в слепой ярости своей убил и ее.

Собрались слуги, которые все видели, и женщины с трудом удерживали плакавших детей Семедан, не пуская их к безжизненному телу матери.

А Каддард стремительно пошел прочь и поднялся в комнату своей жены. И никто не осмелился за ним последовать.

Когда он понял, что натворил, то сразу решил, как ему поступить. Теперь он не мог больше доверять себе, не мог управлять собственным даром, а потому ослепил себя.

Правда, впервые рассказывая мне эту историю, Канок не сказал, как Каддард ослепил себя. Я был слишком юн и слишком напуган страшной правдивостью этой истории, чтобы расспрашивать его или чему-то удивляться. Но через несколько лет, став старше, я все же спросил у отца, чем воспользовался Каддард, чтобы ослепить себя? Кинжалом? Нет, ответил мне Канок, он воспользовался своим же убийственным даром.

Среди вещей, принадлежавших Семедан, он нашел зеркало в серебряной раме, сделанное в виде выпрыгнувшего из воды лосося. Купцы, приезжавшие к нам из Дьюнера и Даннера, чтобы заключить сделки с поставщиками скота и шерстяных изделий, иногда привозили с собой кое-какие редкие игрушки и забавы. В первый год своего брака Каддард отдал за это зеркало великолепного белого быка, желая сделать подарок молодой жене. И вот теперь он взял это зеркало в руки, посмотрел в него и увидел собственные глаза. А потом рукой, дыханием, усилием воли и всей дарованной ему силой ударил прямо по этим отраженным в зеркале глазам, и зеркало разлетелось вдребезги. А Каддард ослеп.

Никто не стал мстить ему за убийство жены и девочки-служанки. Ослепнув, Каддард оставался брантором Каспроманта, пока не научил своего старшего сына Канока пользоваться семейным даром. Вскоре брантором стал Канок, а Слепой Каддард отправился на верхнюю ферму и долго жил там среди пастухов, пока не умер.

Мне совсем не понравился печальный и пугающий конец этой истории. Услышав ее впервые, я постарался поскорее выбросить большую ее часть из головы. Мне была по душе только первая ее часть – о мальчике, наделенном таким могущественным даром, которого боялась даже его родная мать, и об отважном юноше, который в одиночку сумел прогнать многочисленных врагов и спасти свои земли. Порой я ходил один на какой-нибудь холм, открытый всем ветрам, и воображал, что я – Каддард Сильный Глаз. Сотни раз я надменно заявлял перепуганным захватчикам с Высокогорья: «Вы видели, что я сделал! А ведь я находился от них на расстоянии мили!» А потом я сталкивал вниз валун, за которым якобы прятались мои враги, и заставлял их трусливо разбегаться на четвереньках во все стороны, как тараканов. Я помнил, как именно отец велел мне тогда держать левую руку, и каждый раз пробовал свои силы, упершись взглядом в какой-нибудь камень и подняв руку, как полагается, но никак не мог припомнить то слово, которое он тогда шепнул мне. Если это, конечно, было слово. «Говори дыханием, а не голосом», – советовал он тогда. Но слово ускользало каждый раз, когда мне уже казалось, что я его вспомнил, и губы не складывались, когда я пытался снова его произнести, если, конечно, губы мои когда-либо вообще его произносили. Я пробовал снова и снова, но с моих губ не слетало ни звука. Однажды, потеряв терпение, я прошипел нечто совершенно бессмысленное и сделал вид, будто все же заставил камень сдвинуться с места и развалиться

на куски, и в воображении моем захватчики обратились в бегство, а я выкрикивал им вслед: «Будете знать, как сильны и остры мои глаза!»

А потом я всегда шел посмотреть, что же случилось с «поверженным в прах» валуном, и один или два раза я был совершенно уверен, что на нем или появилась небольшая трещинка, или от него отвалился кусочек.

Иногда, когда мне надоедало все время быть Каддардом, я становился одним из тех юношей-серфов, которых Каддард отдал в услужение горцам. Разумеется, мне удавалось бежать – с помощью различных хитроумных уловок и устройств – и уйти от погони, а потом я уводил своих преследователей в страшные топи, которые хорошо знал, зато не знали они, и в итоге возвращался в Каспромонт. Почему серф непременно должен был так уж стремиться в Каспромонт, где его ожидало почти такое же рабство, как и в Тиброманте, откуда он столь успешно сбежал, я не знал, да мне это и в голову никогда не приходило. Скорее всего, именно так поступил бы любой мальчишка вроде меня: пришел бы домой. Впрочем, мы хорошо обращались с нашими фермерами и пастухами, и достаток у них был почти такой же, как у нас, живущих в Каменном Доме. Наше благополучие имело единую основу. И вовсе не страх перед даром нашей семьи держал этих людей рядом с нами из поколения в поколение. Наш дар защищал их. Боялись они в основном того, чего не знали или не понимали, а к тому, что было им уже известно, знакомо с детства, они, можно сказать, даже льнули. Так что я твердо знал, куда идти, если меня уведут враги и мне удастся от них сбежать. Я был уверен: нет другого такого места во всех Верхних Землях, а может, и во всем мире, о котором рассказывала мне мать, какое я смог бы полюбить сильнее, чем эти бесплодные холмы, тощие рощицы, мрачные скалы и губительные трясины нашего Каспроманта. Я и теперь совершенно уверен в этом.

Глава 3

Второй очень важной для меня историей, рассказанной отцом, была история о налете на Дьюнет. В этой истории мне нравилось все, потому что у нее был самый счастливый конец, какой только можно было придумать. Она заканчивалась, насколько я мог судить, моим появлением на свет.

Мой отец, тогда еще совсем молодой человек, решил жениться и искал себе невесту. Люди из нашего рода жили не только в Каспромманте, но и в Кордемманте, и в Драмманте. Мой дед позаботился о том, чтобы поддерживать добрые отношения с семейством Корде, и даже пытался исправить давно испорченные отношения с Драммантом: не участвовал в грабительских набегах на их земли, запрещал своим людям воровать у них овец и так далее. Во-первых, он не хотел ничем вредить своим родственникам, проживавшим в этих землях, а затем, видимо, надеялся, что его сыну удастся отыскать там себе невесту. Наш дар передавался от отца к сыну, но никто не сомневался в том, что если и мать будет принадлежать к столь одаренному роду, то в детях дар только усилится. Итак, поскольку в Каспромманте не нашлось ни одной подходящей девушки, пришлось искать в Кордемманте, где имелось несколько родственных нам семей, но во всех были только сыновья. Нашлась, правда, одна женщина брачного возраста, но, к сожалению, лет на двадцать старше Канок. Впрочем, такие браки были не такой уже редкостью, а раньше и вовсе заключались довольно часто, чтобы любым способом сохранить дар. Но Канок колебался, и, прежде чем Оррек успел заставить сына вступить в брак с этой пожилой особой, брантор Огге из Драмманта женил на ней своего младшего сына. Жителей Кордемманта Огге давно прижал к ногтю, так что и в этом случае они были вынуждены уступить ему.

Таким образом, оставались только те семьи из рода Каспро, что жили в Драмманте. Там имелись две вполне подходящие девушки на выданье, особенно если им дать еще несколько лет подрасти. Обе они с радостью вышли бы замуж за кого-нибудь из Каспромманта, но старинная вражда между Драммантом и Каспроммантом во времена правления брантора Огге была очень сильна, и Огге с презрением отверг предложение Оррека и тут же выдал девушек замуж – одной тогда было четырнадцать, а другой пятнадцать лет. Первую он отдал за какого-то фермера, а вторую – за серфа.

Это было настоящим оскорблением – причем умышленным – как для самих девушек, так и для всего рода Каспро, но что еще хуже – подобные браки сильно ослабляли наш дар. Мало кто в Верхних Землях одобрял подобное самоуправство. Честное состязание в умениях и способностях – это одно, а нечестные попытки исподтишка ослабить дар противника – это совсем другое. Но Драммант тогда обладал значительной властью, и брантор Огге творил в своих землях, что хотел.

Короче, ни одной подходящей женщины из рода Каспро, на которой Канок мог бы жениться, так и не нашлось. Впрочем, он не особенно об этом и жалел. Он так мне и сказал:

– Спасибо Огге, что он спас меня от той старухи из Кордемманта, а потом и от этих жалких курочек, малолеток из Драмманта. Мне оставалось одно, и я сказал отцу: «Раз так, я совершу грабительский налет».

Оррек считал, что его сын собрался грабить кого-то из более слабых соседей или, может быть, отправиться на север, в Моргамант, который славился своими прекрасными конями и прекрасными женщинами. Но у Канок на уме была куда более дерзкая затея. Он собрал отряд – десяток крепких молодых фермеров из Каспромманта, двоих или троих наших родственников из Кордемманта, Тернока из семейства Родд и еще кое-кого из Каспромманта или из соседних земель. Все эти молодые люди считали, что кража небольшой группы серфов или какого-либо имущества – отличное развлечение, так что все они встретились однажды майским утром у подножия холма на перекрестке дорог и поскакали на юг.

А надо сказать, что за последние семьдесят лет на Нижние Земли никто ни разу не совершил ни одного грабительского налета.

Фермеры в отряде Канок были одеты в толстые грубые кожаные куртки, заменявшие им боевые доспехи; на головах у них красовались бронзовые шлемы, а вооружены они были копьями, дубинками и длинными кинжалами – на тот случай, если дойдет до кровопролития. Родовитые же юноши облачились в черные фетровые килты, из-под которых сверкали их голые коленки, и куртки; шляп они не надели, а свои длинные черные волосы заплели в косу и закрутили на затылке в пучок. У них не было никакого оружия, кроме охотничьих ножей, собственных глаз и фамильного дара.

– Когда я увидел, сколько нас собралось, – рассказывал Канок, – то пожалел, что сперва не выкрал в Моргаманте несколько тамошних коней. Наш отряд смотрелся бы отлично, если бы не те жалкие животные, на которых ехало верхом большинство моих «воинов». У меня-то был Король – я знал, что это один из предков нашей Чалой, высокий рыжий жеребец, которого сам я, правда, помнил с трудом, – а вот Тернок ехал на вислогубой кобыле, используемой обычно на пахотных работах, и у Батро не нашлось ничего лучше пегого полуслеплого пони. Хотя мулы были довольно красивы – мы взяли трех мулов из тех красавцев, которых разводил мой отец. Но мулов мы вели в поводу: им предстояло везти домой награбленное нами добро.

Отец рассмеялся. Он всегда приходил в отличное расположение духа, рассказывая эту историю. Я четко представлял себе эту небольшую процессию: суровые ясноглазые молодые мужчины верхом на жалких спотыкающихся лошадях едут гуськом по извивающейся в густой траве каменистой тропе, что ведет из Высокогорья в долину. Гора Эйрн виднелась прямо у них за спиной, а рядом – Баррик с ее серыми утесами; потом стали видны, все сильнее нависая над остальным миром, огромные, одетые в белые снежные шапки вершины тех гор, что находятся на земле Каррантагов.

А впереди, насколько мог видеть глаз, расстилались зеленые холмы – «зеленые, как берилл», говорил мой отец, и глаза его туманили воспоминания о прошлом, об этих богатых безлюдных землях.

В первый день они не встретили ни единого человека, не увидели никаких признаков человеческого жилья, им не попалось ни стада коров, ни отары овец – только куропатки бросались врассыпную из-под копыт да в небе кружили коршуны. Жители Нижних Земель оставили нечто вроде широкой полосы отчуждения между своими владениями и территорией горцев. Отряд не спеша тащился целый день вслед за подслеповатым пони Батро и остановился на ночлег на склоне одного из зеленых холмов. И лишь на следующий день поздним утром они впервые заметили стада овец и коз на пастбищах, обнесенных каменными изгородями, и увидели в отдалении домик какого-то фермера и мельницу в долине у ручья. Тропа постепенно превратилась в проезжую дорогу, которая становилась все шире и теперь пролегалла уже меж распаханными полями; вскоре они увидели дым над каминными трубами и красные черепичные крыши на залитом солнцем склоне холма – это был город Дьунет.

Я не знаю, чего хотел добиться мой отец, отправляясь со своим отрядом в Нижние Земли, – может быть, действительно совершить налет на перепуганных жителей города, захватить как можно больше добра и столь же быстро отступить или же достойно, поражая воображение горожан своим грозным видом, въехать в город и предъявить требования совсем иного рода, подкрепив их угрозой применить свои нешуточные способности. Но что бы ни имел в виду Канок, в город он въехал не галопом, а спокойно, без криков и бряцания оружием, в боевом порядке. Так что жители почти не обратили на его отряд внимания, и тот спокойно добрался до рыночной площади, пробираясь сквозь толпы людей, спешивших на ярмарку пешком и в конных повозках и пригнанных на продажу стада скота. Наконец люди разглядели, кто к ним пожаловал, и стали кричать: «Горцы! Горцы! Колдуны!» – а некоторые тут же бросились бежать, стали поспешно запирали двери своих домов и лавок, пытаясь спасти выставлен-

ные на продажу товары. Но те, что пытались убежать, оказались в ловушке, потому что путь с площади им преградили те, что пришли посмотреть на происходящее здесь; возникла давка, прилавки были перевернуты, полотняные навесы сброшены на землю, лошади, сорвавшись с привязи, металась по площади, снося все на своем пути, громко мычал скот, а отряд фермеров из Каспроманта под предводительством Канок размахивал копьями и дубинками, до смерти пугая торговков рыбой и местных кузнецов. Канок попытался было прекратить панику, грозно крича и ругаясь, причем поносил он не столько горожан, сколько свое «войско», и в итоге пригрозил, что применит свой дар, так что они все же собрались вокруг него, но многие упорно прижимали к груди то, что уже успели стащить с рыночных прилавков, – розовую шаль или медный чугунок.

Отец так мне и сказал:

– Я отлично понимал: если дело дойдет до кровопролития, мы проиграем. Ведь нас была всего горстка, а этих горожан – сотни! – Откуда ему было знать, что такое город? Он ведь в жизни ни в одном городе не бывал. – Если бы я позволил своим начать грабить дома горожан, – продолжал он, – они легко перебили бы нас по одному. Лишь я и Тернок обладали достаточно сильным даром, пригодным и для атаки, и для обороны. Да и что мы могли там взять? Вся площадь была усыпана добром – едой, всякими товарами, одеждой... Разве мы могли все это взять с собой? Мы ведь совсем не за этим туда приехали. Я хотел найти себе жену, но не знал, как это сделать, тем более что все так по-дурацки сложилось. Да и не нужно нам было это барахло; единственное, что нам действительно требовалось, – это рабочие руки, которых в Верхних Землях всегда не хватало. Но было ясно: если я немедленно хотя бы немного не запугаю собравшихся вокруг людей, они на нас накинутся. И я поднял флаг переговоров. Как ни странно, они знали, что это такое, и немного притихли. А потом из окна большого дома, что высился прямо над рыночной площадью, высунулся какой-то мужчина и тоже стал махать какой-то белой тряпкой.

И тогда я громко провозгласил: «Мое имя Канок, я из благородного рода Каспро и обладаю даром мгновенного уничтожения, который сейчас вам и продемонстрирую». И я, превратив в бесформенную грудку один из рыночных прилавков, обернулся к толпе, чтобы убедиться, что все это видели. После этого я направил свой взгляд на угол того большого каменного амбара, что выходил прямо на площадь, неторопливо простер в этом направлении свою ничуть не дрожавшую левую руку, и все увидели, как стена здания вздрогнула, вздулась, из нее на землю посыпались камни и в стене возникла довольно большая дыра, которая все расширялась, а хранившиеся в амбаре мешки с зерном точно взорвались. Потом шум падавших камней усилился, и люди в ужасе закричали: «Довольно, довольно!» Так что я приостановил действие своего дара и снова повернулся лицом к толпе. Теперь они уже гораздо сильнее хотели вступить со мной в переговоры и для начала спросили, что мне от них нужно. И я сказал: «Женщин и мальчиков».

И тут на площади и на всех прилегающих к ней улицах поднялся невообразимый вой. Люди высовывались из окон домов и кричали: «Нет! Нет! Убейте этих колдунов!» Их вопли сливались и были похожи на потусторонние голоса, что слышатся во время сильной бури. Мой конь встал на дыбы и тревожно заржал. И тут в круп ему вонзилась стрела. Я поднял глаза и этажом выше того окна, из которого со мной вели переговоры люди с белой тряпкой в руках, увидел лучника, уже вложившего в лук новую стрелу. И я в гневе ударил его своим взглядом. И он рухнул из окна на мостовую, точно мешок с дерьмом, и остался лежать там бесформенной грудой. А я, заметив, что какой-то человек в толпе поднял камень, собираясь швырнуть им в меня, направил свой взгляд на него, но разрушил только ту его руку, что держала камень, и рука тут же повисла бессильной плетью. Он страшно закричал, и вокруг тоже все закричали, завывали, а в том месте, где упал лучник, возник настоящий водоворот. «Я уничтожу каждого, кто двинется с места!» – громко крикнул я. Они все так и застыли.

Потом Канок велел своим людям окружить его плотным кольцом, пока он будет вести переговоры. Тернок охранял его сзади. И горожане – во всяком случае, те, что вели с ним переговоры от лица города, – согласились скрепя сердце отдать ему пять женщин и пять мальчиков. Сперва они, правда, сказали, что им потребуется время, чтобы собрать «дань», как они это называли, но Канок мгновенно прекратил всякие споры, заявив: «Пришлите сюда немедленно пару десятков тех и других, а уж мы сами выберем таких, которые нам подойдут». И он слегка приподнял свою левую руку; завидев это, горожане тут же согласились с его требованиями.

Прошло всего несколько минут, которые Каноку показались долгими часами; толпа на улицах то рассеивалась, то снова собиралась, подступая все ближе, а ему оставалось лишь осаживать своего разгоряченного коня да самому держать ухо востро, следя, как бы в окне не показался очередной шустрый лучник. Наконец привели какое-то количество мальчиков и женщин – их гнали на рыночную площадь по улицам города, они плакали и умоляли отпустить их, а некоторые даже падали на колени и ползли на четвереньках, но и их поднимали и заставляли двигаться дальше пинками и ударами кнута. Всего собралось пять мальчиков, все не старше десяти лет, и четыре женщины: две совсем молоденькие девушки из серфов, полумертвые от страха, и две женщины постарше в грязной вонючей одежде, которые покорно шли сами. Наверное, они думали, что жизнь среди колдунов не может быть хуже, чем рабское существование в работницах у дубильщика кож. Больше во всем городе не сумели, видно, найти никого.

Канок решил, что вряд ли стоит настаивать на своих условиях, ибо чем дольше они оставались в окружении враждебно настроенной толпы, тем ближе был тот миг, когда кто-нибудь все же не выдержит и выпустит в него стрелу или бросит камнем, а потом неизбежно начнется потасовка и их попросту разорвут на куски.

И все-таки он не мог допустить, чтобы какие-то торговцы так нагло провели его.

– Здесь только четыре женщины, – сказал он.

Переговорщики заныли, но времени спорить с ними у Канока не было. Окинув взглядом площадь и окружающие ее большие дома, он заметил в окне узкого дома на углу женскую фигуру. Женщина была в бледно-зеленом платье цвета ивовых листьев, что, собственно, и привлекло его внимание. Кроме того, она не пряталась, а стояла у окна совершенно открыто и смотрела вниз, прямо на него.

– Ее, – сказал Канок, указывая на эту женщину. Он указал на нее правой рукой, но все вокруг так испуганно ахнули, что он даже рассмеялся. И с нарочито грозным видом воздел правую, безопасную, руку, делая вид, что сейчас всех уничтожит.

Вдруг дверь углового дома отворилась и наружу вышла та женщина в платье цвета ивовых листьев. Она остановилась на крыльце, и Канок мог теперь хорошо ее рассмотреть. Она была молода, небольшого роста, тоненькая. Ее длинные черные волосы красивой волной падали на зеленую ткань платья.

– Будешь моей женой? – спросил ее Канок.

Она на минутку застыла, потом сказала «да» и медленно пошла к нему по разгромленной рыночной площади. На ногах у нее были легкие черные сандалии, сплетенные из ремешков. Канок протянул ей левую руку. Она поставила ногу в стремя, и он, легко вскинув ее в седло, усадил перед собой.

– Можете взять себе этих мулов вместе с упряжью! – крикнул Канок жителям города, помня о «даре дара». Если учесть, сколь небогато было его семейство, это был поистине королевский подарок, а ведь он понимал, что жители Дьонета запросто могли бы все это отобрать у него, если бы сумели преодолеть свой страх.

Остальных женщин и мальчиков также посадили на лошадей, и отряд Канока спокойно, в боевом порядке двинулся в обратный путь; толпа на улицах молча расступалась перед ними, пока они не выехали за городскую стену и не двинулись по северной дороге к нашим горам.

Так закончился последний грабительский налет жителей Каспроманта на Нижние Земли. Ни Канок, ни его жена никогда больше не ездили по этой дороге.

Ее звали Меле Аулитта. И владела она платьем цвета ивовых листьев, маленькими плетеными сандалиями, в которые сунула ноги, прежде чем выйти из дома, и маленькой подвеской на шее – опалом на серебряной цепочке. Это и было все ее приданое. Канок женился на ней ровно через четыре дня после того, как привез в Каменный Дом. За четыре дня его мать и служанки успели приготовить для новобрачной и наряд, и прочие необходимые вещи; они очень спешили, но работали с огромной радостью и охотой. А потом брантор Оррек поженил их в главном зале Каменного Дома, и на свадьбе присутствовали все члены бравого отряда Канока, ездившего грабить Нижние Земли, все члены семейства Каспро и все жители Западного края, кто только сумел прибыть в Каспромонт, чтобы плясать на веселой свадьбе.

– А потом, – сказал я, когда мой отец умолк, закончив рассказывать эту историю, – мама родила меня!

Меле Аулитта родилась и выросла в Деррис-Уотере, в Бенгдрамане, и была четвертой из пяти дочерей священника и одновременно члена городского магистрата. Это высокий пост, так что этот священник-судья с супругой были людьми весьма обеспеченными и воспитывали своих дочерей в праздности и роскоши, хотя и достаточно строго, ибо религия требовала от тамошних женщин скромности, чистоты, покорности и предоставляла немало возможностей жестоко наказать и унижить тех, кто оказывал неповиновение. Но Адилд Аулитта был отцом добрым и снисходительным, мечтая о том, чтобы его дочери стали посвященными городскому храму девственницами. Меле научили читать и писать, затем она немного занималась математикой и очень много – священной историей и поэзией; ей преподали также начатки градостроительства и архитектуры – в качестве подготовки к почетной карьере храмовой девственницы, которую прочил ей отец. Учиться Меле нравилось, и ученицей она была превосходной.

Но когда ей исполнилось восемнадцать, что-то случилось в ее жизни, отчего все сразу переменялось. Я не знаю, что именно там произошло, – она никогда об этом не говорила; стоило спросить – и она, улыбнувшись, переводила разговор на другую тему. Возможно, в нее влюбился ее наставник, а обвинили во всем именно ее. Возможно, у нее был тайный возлюбленный и она даже бегала к нему на свидания. А может, все было куда менее серьезно. Впрочем, ни малейшая тень не должна пятнать репутацию той, что готовится стать храмовой девственницей, от чистоты и непорочности которой зависит благополучие и процветание всего Бенгдрамана. Мне даже приходило в голову, что Меле нарочно все это устроила, чтобы избежать уготованной ей участи провести всю жизнь в городском храме. В общем, в наказание ее отослали из дома к дальним родственникам, жившим на севере, в провинциальном, похожем на большую деревню Дьюнете. Родственники Меле тоже были людьми уважаемыми, порядочными и глаз с нее не спускали, подыскивая для нее среди местных жителей подходящего жениха и без конца приглашая в дом мужчин «на смотрины».

– Один, – со смехом рассказывала она, – был такой маленький, толстенький да еще и с розовым носиком, похожим на пяточок, и, как оказалось, торговал свиньями! А другой был очень высоким и ужасно худым; он одиннадцать раз в день по целому часу молился и хотел, чтобы я молилась с ним вместе.

В общем, когда она выглянула из окна и увидела Канока из Каспроманта верхом на рыжем жеребце, увидела, как он одним взглядом уничтожает людей и дома, то сразу же выбрала его. Точно так же как и он сразу выбрал ее.

– Но как же тебе удалось уговорить твоих родственников отпустить тебя? – спрашивал я, зная ответ и заранее им наслаждаясь.

– А я и не уговаривала. Они все попрятались под столы и под стулья, чтобы этот «колдун» случайно их не заметил и не смог бы им тоже кости растворить. И я просто сказала им: «Не

бойтесь. Разве не сказано, что „девственница спасет ваши дома и имущество ваше“?» А потом спустилась по лестнице и вышла из дому.

– А откуда ты знала, что отец тебе ничего не сделает?

– Да уж знала, – усмехнулась она.

Она не знала ни куда едет, ни что из всего этого выйдет, как не знал и Канок, когда спускался с гор, что такое Дьонет; он-то думал, что Дьонет похож на наши деревни: несколько домов, хозяйственные постройки, поскотина и десятка два жителей, большая часть которых одновременно отправилась на охоту. Возможно, и Меле тоже думала, что едет в такое место, которое не слишком отличается от ее родного города или, по крайней мере, от Дьонета, где она жила у родственников и где у нее был такой чистый, теплый, светлый и уютный дом, всегда полный людей. Откуда ей было знать, как живут в горах?

Для жителей равнин горные области были проклятым, ненавистным краем, о котором они постарались попросту забыть. Они почти ничего не знали о горцах. Любой воинственный народ давным-давно бы уже послал туда армию и очистил свои горные тылы от столь опасных соседей и столь нелепых пережитков прошлого, но Бенгдраман и Урдайл – государства мирные, и основное их население – это купцы, земледельцы, ученые и священнослужители, а не воины. Единственное, что сделали жители Нижних Земель, – это повернулись к горам спиной и забыли о тех, кто там живет. Даже в Дьонете, по словам моей матери, многие уже не верили в страшные сказки о жителях «страны Каррантагов» – чудовищах, похожих на гоблинов, которые верхом на конях устремлялись с гор на равнины, захватывая города, сжигая урожай в полях и повергая в прах целые армии с помощью одного лишь взгляда или мановения руки. Считалось, что подобное случалось очень, очень давно, «когда королем был Кумбело», а в наше время ничего такого быть просто не может. И жители Дьонета спокойно торговали с горцами и покупали у них замечательных коров и быков цвета молока, но, как сами эти торговцы рассказывали моей матери, эта замечательная порода скота постепенно сошла на нет, ведь земли наверху страшно бедные. И теперь, утверждали эти торговцы, в старых горных селениях почти никто не живет, кроме пастухов да самых бедных фермеров, которые чуть ли не выскребают жалкие урожаи со своих каменистых полей.

В основном, как впоследствии убедилась моя мать, эти рассказы оказались довольно правдивыми. Хотя и не совсем.

Однако она справедливо считала, что правда далеко не всегда однозначна для всех, как, впрочем, и те домыслы, что потом превращаются в сказки.

Все приключения с героями историй, которые она рассказывала нам в детстве, случались в те времена, «когда королем был Кумбело». В те времена храбрые молодые рыцари-священники успешно сражались с демонами в обличье огромных псов и побеждали их; в те времена существовали злые колдуны из страны Каррантагов, говорящие рыбы, способные предупредить о землетрясениях, и девочка-нищенка, получившая в подарок тележку, сделанную из лунных лучей. Остальные истории моей матери не имели к временам, «когда королем был Кумбело», ни малейшего отношения, и говорилось в них совсем не о приключениях. Если не считать ее собственной истории, начавшейся в тот момент, когда она вышла за порог своего дома и пошла через рыночную площадь навстречу моему отцу. В этой истории пересекались две основные линии ее повествований и встречались две правды.

Те истории моей матери, в которых не говорилось о приключениях, были просто описаниями повседневной жизни благополучного семейства из небольшого городка в сонных Нижних Землях. Но мне эти истории нравились не меньше, а может, и больше, чем истории о приключениях. И я просил мать: «Расскажи о Деррис-Уотере!» И по-моему, ей нравилось рассказывать об этом не только потому, что это доставляло удовольствие мне, но и потому, что так она могла хоть немного излить свою тоску по родным краям. В Верхних Землях она все-

гда оставалась чужестранкой, ее всегда окружали чужие ей люди, как бы сильно она их ни любила и как бы хорошо они к ней ни относились. Моя мать была веселой, жизнерадостной, очень живой, но я знал, что счастливейшими минутами ее жизни были те, когда она, свернувшись клубком на ковре перед камином в своей маленькой круглой гостиной, расположенной в башне, рассказывала мне, чем торговали на рынках Деррис-Уотера, как они с сестрами подглядывали за отцом, когда тот надевал на себя все эти ужасные корсеты «с толщинкой» и пышные одежды священника-магистрата и отправлялся на службу, с трудом ковыляя в своих башмаках на высокой подошве и с высоченными каблуками, благодаря которым казался выше всех прочих людей, и как ее отец сразу уменьшался в размерах, когда скидывал с себя и эти башмаки, и все эти одежды, и прочую дребедень. Она рассказывала мне, как плавала вместе с друзьями на корабле до самого устья реки Тронд, где эта река впадает в море. Она и о море мне рассказывала. Она говорила, что ракушки, хрупкие и разноцветные, которые мы изредка находили в отвалах и на горных осыпях и которые очень ценились в наших играх, – это бывшие живые существа, некогда обитавшие в море, близ берега.

Отец, вернувшись с полей, обычно входил в комнату матери только с чисто вымытыми руками и в чистой обуви – ибо она твердо придерживалась определенных принципов, ранее совершенно незнакомых Каменному Дому, – и тоже присаживался, чтобы послушать ее рассказы. Он очень любил слушать, как ее звонкий голос журчит, точно ручеек, веселый и чистый, и в нем слышатся свойственные речам жителей Нижних Земель мягкость и живость. Для сородичей моей матери умение говорить, рассказывать считалось искусством, приносящим удовольствие, а не просто необходимым для общения инструментом. И вместе с ней это искусство и удовольствие, получаемое от него, стало известно и в Каспромманте. И я твердо знаю: это она зажгла тот свет, что горел в глазах моего отца.

Глава 4

Междоусобицы, как и дружеские связи между различными родами Верхних Земель, корнями своими уходили в незапамятные времена; эти давние времена даже представить себе было невозможно. Например, семьи Каспро и Драм всегда между собой не ладили. Зато семьи Каспро, Родд и Барре всегда пребывали в дружеских отношениях, во всяком случае достаточно дружеских, чтобы даже после ссоры через какое-то время эти отношения непременно снова восстанавливались.

Но если Драммант процветал – в основном нагло ворую скот и отнимая земли у более слабых соседей, – Каспроммант, Роддмант и Барреммант переживали далеко не лучшие времена. Казалось, время их расцвета осталось в прошлом и никогда больше не вернется; особенно это касалось рода Каспро. Даже во времена Слепого Каддарда сила и численность этого семейства опасно уменьшились, хотя оно еще владело довольно большой территорией и имело в своем распоряжении около тридцати семей фермеров и серфов.

Фермеры, впрочем, почти всегда были нашими дальними родственниками, и кое у кого из них даже проявлялся порой фамильный дар Каспро, хотя и довольно слабый; у серфов же не было ни родства с нами, ни нашего дара. Но и те и другие обязаны были присягнуть на верность своему господину, а также имели право обращаться к нему со своими требованиями. По большей части и серфы, и фермеры со своими семьями жили на той земле, которую обрабатывали, так же давно, как семья брантора проживала в своем Каменном Доме, а то и дольше. Полевые работы и распределение урожая, скота, леса и всего остального велись согласно древним обычаям, и все вопросы решались сообща на советах, собиравшихся довольно часто. Людям в наших краях редко приходилось напоминать о том, что брантор волен распоряжаться их жизнью и смертью. То, что Каддард тогда в порыве неразумной щедрости подарил двух серфов семейству Тибро, было, по сути, исключением. Казавшийся безрассудным и нарушающим древние традиции поступок Каддарда на самом деле спас наши земли от грозных захватчиков, ибо враги, приняв этот дар, угодили в сети его с виду экстравагантного великодушия. Его ответный дар, этот «дар дара», был, возможно, и чересчур щедрым, однако Каддард воспользовался им весьма мудро. Зато в тех случаях, когда брантор использовал свой дар против своих же людей, как, например, Эррой в Гереманте или Огге в Драмманте, это никогда не приносило добра.

А вот дар рода Барре никогда нельзя было применить в целях устрашения. Способность выманить дикого зверя из леса, или приласкать испуганного жеребенка, или обсудить что-то с гончим псом, безусловно, считалась даром, но такой дар не давал человеку возможности ощутить свое превосходство – особенно по сравнению с теми, кто одним взглядом мог поджечь стог принадлежащего тебе сена или убить твою гончую, а то и тебя самого. А потому род Барре давным-давно утратил свои владения; их земли перешли к Хелварам из рода Каррантагов. Представители рода Барре разбредались по окрестным землям и заключали браки с представителями других семейств Западного края, стараясь как-то сохранить в чистоте свой род и свой дар, чтобы не ослабить и не утратить его, но, разумеется, не всегда могли это сделать. Некоторые наши фермеры, например, были из рода Барре. Почти все наши целители и ветеринары, а также птицеводы и псары – во всяком случае, по женской линии – принадлежали к роду Барре. Сохранились и отдельные «чистые» семьи этого рода – в Гереманте, Кордемманте и Роддманте.

Представители семейства Родд, обладавшие даром ножа, могли бы не только отлично защищать свои земли, но и нападать на чужие, если б только захотели, но для этого им не хватало твердости характера. Они не были настоящими землевладельцами, настоящими феодалами, их куда больше интересовала охота на лосей, чем междоусобицы или захват чужих территорий. В отличие от большей части горцев, чересчур гордых и исполненных собственного

достоинства, жители Роддманта предпочитали сами выращивать отличный скот, а не воровать его. Тех молочного цвета быков, которыми некогда славился наш Каспромонт, на самом деле вывели в Роддманте. А мои далекие предки попросту крали у тамошних жителей коров и быков, пока не собрали у себя достаточно большое для разведения этой породы стадо. В Роддманте также умели очень неплохо возделывать землю и собирали хорошие урожаи; в целом жили они небедно, но даже и не пытались расширять свои владения и не претендовали на то, чтобы называться великим родом. Представители семейства Родд довольно часто вступали в брак с членами рода Барре, так что во времена моего детства в Роддманте было два брантора – родители Грай: ее мать, Парн Барре, и ее отец, Тернок Родд.

Наши семьи издавна поддерживали хорошие отношения – насколько это вообще возможно в горах. А Тернок с моим отцом были настоящими друзьями. Это ведь Тернок на своей вислогубой лошадке сопровождал отца во время знаменитого налета на Дьонет. В награду он тогда получил одну из девочек-серфов, но вскоре отдал ее Бато Каспро из Кордеманта, хозяину второй девочки, потому что они были сестрами и очень тосковали в разлуке. За год до того налета Тернок и Парн поженились. Парн выросла в Роддманте, и в ее жилах текло немного крови Роддов. Через месяц после того, как моя мать родила меня, Парн тоже родила – девочку, Грай.

Так что мы с Грай стали друзьями, можно сказать, с колыбели. Мы были еще совсем малышами, но, когда наши родители приходили друг к другу в гости, уже убегали от них и играли вдвоем. Я был, по-моему, первым, кто увидел, как дар Грай обретает силу, хоть и не уверен, что помню это сам; возможно, я просто припоминаю это по каким-то ее рассказам. Дети ведь умеют отлично видеть то, о чем им рассказывают. И вот что, например, стоит у меня перед глазами: мы с Грай сидим на дальнем краю огромного огорода в Роддманте и строим домики из земли и веточек, и вдруг из небольшой рощицы, что раскинулась за домом, выходит здоровенный лось и идет прямо к нам. Это настоящий исполин – он выше дома, а его ветвистые рога затмевают солнце. Лось идет медленно, направляясь прямо к Грай, а она протягивает руку, и огромный бык утыкается носом ей в ладонку, словно здороваясь. «Зачем он пришел сюда?» – спрашиваю я, и она говорит: «Потому что я его позвала». И больше я об этом дне ничего не помню.

Спустя несколько лет, когда я рассказал все это отцу, он заявил, что такого просто быть не могло, ведь Грай тогда было всего года четыре, а дар проявляется не раньше девяти-десяти лет.

– Но ведь Каддарду было всего три! – напомнил я ему.

Мать, присутствовавшая при нашем разговоре, тихонько коснулась пальцем моей руки: «Не перечь отцу». Канок всегда казался ей каким-то слишком напряженным, встревоженным, и она защищала его от меня, такого беспечного и самоуверенного, но делала это удивительно тактично.

Грай была моим самым лучшим товарищем. Мы вечно что-то придумывали, вечно попадали во всякие переделки, и нам вечно влетало. Хуже всего было, когда мы выпустили на волю всех кур и цыплят. Грай утверждала, что запросто может научить их делать всякие фокусы – например, ходить строем, взлетать и садиться ей на палец и тому подобное. «Таков мой дар», – самоуверенно заявила она. Нам было тогда лет по шесть. В общем, мы пошли на большой птичий двор Роддманта, загнали в угол несколько цыплят-подростков и попытались кое-чему научить их – все равно чему, лишь бы слушались. Это было так увлекательно, что мы совершенно не заметили, что калитка в курином загоне так и осталась распахнутой настежь. В итоге все несущики последовали за петухом в лес и расселись по деревьям, а мы долго и тщетно пытались загнать их обратно. Парн, которой ничего не стоило бы просто призвать кур к порядку, дома, как назло, не оказалось, ее попросили участвовать в очередной охоте. В общем, хорошо в результате было только лисицам в лесу, которые были нам с Грай весьма благодарны. Грай тогда ужасно расстроилась. Она чувствовала себя особенно виноватой, потому что уход за пти-

цей входил в число ее личных обязанностей. Я никогда больше не видел, чтобы она так горько плакала. Весь тот вечер и весь следующий день она бродила по лесу, сзывая пропавших кур и жалким дрожащим голосом, точно безутешная перепелка, выкликая: «Бидди! Лили! Сноуи! Фэн!»

В Роддманте мы то и дело попадали во всякие неприятные истории, а когда Грай приезжала к нам, в Каспромонт, со своими родителями или только с отцом, никаких несчастий не случалось. Моя мать очень любила Грай. И порой просила ее:

– Встань-ка там, Грай! – Грай послушно вставала, и моя мать смотрела на нее до тех пор, пока девочка не начинала вертеться и нервно хихикать. – Ну ладно тебе, постой еще немножко спокойно, – уговаривала ее моя мать. – Разве ты не понимаешь, что я так внимательно смотрю на тебя, потому что хочу родить точно такую же хорошую девочку, как ты.

– А ты роди себе точно такого же мальчика, как Оррек, – предлагала ей семилетняя Грай, но моя мать не соглашалась:

– Нет! У меня уже есть один Оррек. Мне и одного вполне достаточно. А теперь мне нужна маленькая Грай!

Мать Грай, Парн, казалась мне немного странноватой, какой-то беспокойной. У нее был очень сильный дар, и сама она иногда вела себя точно дикое лесное существо. Ее редкостные способности пользовались большим спросом среди охотников, и она, призывая для них дичь, часто не бывала дома, уходя с ними в далекие горные края. Когда же она оставалась в Роддманте, то выглядела так, словно сидит в клетке и смотрит на тебя сквозь прутья. Парн и ее муж Тернок всегда были очень вежливы и осторожны друг с другом. А единственная дочь Парн, похоже, не слишком интересовала их.

– А Парн учила тебя пользоваться вашим даром? – однажды спросил я Грай, очень гордясь теми уроками, которые преподавал мне отец.

Грай покачала головой:

– Она говорит, что не человек пользуется своим даром, а дар использует того человека, которому он дан.

– Но ведь нужно же научиться им управлять, правда? – со знанием дела заявил я, чувствуя себя очень умным и опытным.

– Мне не нужно, – тихо возразила Грай.

Вообще-то, Грай была похожа на мать: такая же тихая, но упрямая. Она, например, ни за что не стала бы со мной спорить, отстаивать собственное мнение, но и менять его ни за что бы не стала. Мне хотелось излить свои мысли в словах. А она предпочитала молчание. Но когда моя мать начинала рассказывать свои истории, Грай, по-прежнему как бы окутанная своим молчанием, слушала ее так внимательно, что запоминала каждое ее слово, удерживая его в душе и лелея потом, как настоящее сокровище.

– Ты прирожденная слушательница, – говорила ей Меле. – Ты умеешь не только призвать к себе кого угодно, но кого угодно выслушать. Это редкое умение. Ты ведь прислушиваешься к тому, что говорят мыши, правда?

Грай молча кивала.

– И что же они говорят?

– Так, разные мышиные вещи, – смущалась Грай. Она всегда была очень застенчивой, даже с Меле, которую любила всем сердцем.

– А ты не могла бы призвать тех мышей, что гнездятся у меня в кладовой, и предложить им, чтобы они переселились в конюшню? – спросила моя мать.

Грай обдумала ее вопрос.

– Но ведь тогда им придется как-то переправлять на конюшню и всех своих малышей, – засомневалась она.

– Ага, – сказала Меле. – Об этом я и не подумала. Тогда вопрос снят. Кроме того, на конюшне живет кот.

– Но ведь этого кота ты могла бы принести и в кладовку? – сказала Грай. У нее был совершенно непредсказуемый ход мыслей; она видела мир так, как видят мыши, или кошки, или моя мать, – и все сразу, одновременно. А потому ее мир казался мне непостижимо сложным. Она не защищала собственное мнение еще и потому, что в душе ее уже как бы жило несколько противоборствующих мнений почти обо всем на свете. Но если она принимала решение, сбить ее с пути было невозможно.

– Ты не могла бы рассказать мне о той девочке, что была добра к муравьям? – попросила она как-то мою мать, страшно смущаясь, словно эта просьба казалась ей совершенно непосильной.

– О девочке, что была добра к муравьям... – задумчиво повторила Меле, как будто произнося название какой-то книги.

Она уже рассказывала нам, что многие свои истории почерпнула из книг, имевшихся у нее в детстве, и ей постоянно кажется, будто она снова читает нам эти книги вслух. Впервые услышав об этом, Грай сразу спросила: «А что такое книга?»

В общем, в ответ на ее просьбу рассказать историю о девочке, что была добра к муравьям, моя мать снова как бы стала «читать» нам ту книгу, которой у нее уже не было.

Давным-давно, когда королем еще был Кумбело, в одной деревне жила вдова с четырьмя дочерьми. И жили они совсем не плохо, но потом эта женщина заболела и никак не могла поправиться. И однажды к ним зашла одна старая мудрая целительница, осмотрела ее и сказала:

– Ничто тебе не поможет, кроме глотка воды из Колодца Моря.

– Ах, что же мне делать? Значит, теперь я наверняка умру! – воскликнула вдова. – Ведь мне, больной, не добраться до этого колодца.

– А разве у тебя нет четырех дочерей? – спросила целительница.

И вдова стала слезно просить свою старшую дочь пойти к Колодцу Моря и принести немного целебной воды.

– А за это я отдам тебе всю мою любовь и самую мою лучшую шляпку в придачу, – пообещала она.

И ее старшая дочь отправилась к морю; шла она, шла и присела немножко отдохнуть. И увидела, как муравьи пытаются затащить в муравейник дохлую осу.

– Фу, противные! – сказала девушка, раздавила муравьев каблуком и пошла себе дальше. До берега моря было далеко, но она все же добралась туда и увидела, как огромные волны набегают на берег, лижут песок и убегают обратно. – Ох, да тут этой воды сколько хочешь! – воскликнула девушка.

Она зачерпнула морской воды и отнесла ее матери.

– Вот целебная вода, мама, – сказала она, и мать залпом выпила принесенную воду. Но до чего же вода эта оказалась горькой да соленой! У бедной вдовы даже слезы на глазах выступили. Но она поблагодарила дочь и отдала ей свою самую лучшую шляпку. Девушка надела ее, и так эта шляпка ей шла, что она очень скоро подцепила себе жениха.

А мать ее все больше слабела. Наконец она решилась попросить вторую свою дочь пойти и набрать для нее воды в Колодце Моря, пообещав ей свою материнскую любовь и свое самое лучшее кружевное платье в придачу. И девушка пошла к морю. Шла она, шла и присела отдохнуть. И увидела человека, который пахал свое поле на быке, а ярмо на быке было надето криво и уже натерло животному кровавую рану на шее. Но девушка решила, что ей до этого нет никакого дела, и пошла себе дальше. И вот она пришла на берег моря. Морские волны с грохотом обрушивались на песчаный берег.

– Да уж, воды тут хватает! – воскликнула девушка, набрала морской воды и отправилась домой. – Вот твоя вода, мама, – сказала она, – давай мне кружевное платье!

Горькой, ох какой горькой и соленой оказалась та вода! Но мать все же заставила себя отпить глоток. А девушка, стоило ей выйти в новом кружевном платье, тут же нашла себе жениха. Вскоре мать поняла, что смерть ее близко, и еле слышным голосом попросила свою третью дочку пойти за целебной водой.

– Та вода, которую они приносили мне, никак не могла быть водой из Колодца Моря, – сказала она дочери, – уж больно она была горька. Сходи за целебной водой, и я отдам тебе всю свою любовь.

– Да зачем она мне? – небрежно сказала дочь. – Ты лучше мне дом отдай, тогда схожу.

И мать пообещала отдать ей дом. В приподнятом настроении девушка пустилась в путь и, ни разу не останавливаясь, дошла напрямик до берега моря. И там, среди песчаных дюн, встретила серого гуся со сломанным крылом. Он шел к ней, волоча по земле крыло, и словно молил о помощи.

– Убирайся прочь, дурак! – сказала ему девушка и прошла мимо. Огромные пенистые волны с грохотом обрушивались на песчаный берег. – Ох, сколько тут воды! – воскликнула она, подставила принесенный сосуд и, наполнив его, поспешила домой.

– Вот тебе вода, мама, а теперь выметайся отсюда! – заявила она. – Теперь это мой дом!

– Неужели ты мне и умереть в своей постели не дашь, детка? – горестно спросила мать.

– Ну если ты поторопишься, то так и быть, оставайся пока, – смиростивилась дочь. – Но давай поскорее, потому что соседский парень хочет на мне жениться. А раз теперь у меня есть дом, мы с сестрами решили устроить большой пир.

И мать, лежа на смертном одре, обливалась горько-солеными слезами, когда к ней вдруг подошла самая младшая из ее дочерей и сказала:

– Не плачь, мама. Я принесу тебе глоток той воды.

– Нет, все бесполезно, детка. Колодец Моря слишком далеко, а ты слишком молода. И у меня ничего не осталось, чтобы подарить тебе. Нет, придется мне умирать.

– А я все-таки попробую, – сказала девушка и быстро вышла из дома.

Шла она, шла и вдруг увидела на обочине дороги муравьев, которые с трудом пытались дотащить до муравейника тела своих погибших товарищей.

– Эй, погодите-ка, мне-то куда легче это сделать, – сказала девушка муравьям, собрала их всех на ладошку и перенесла в муравейник.

Пошла она дальше. И видит, бык пашет землю, а ярмо до крови натерло ему шею.

– Сейчас я все исправлю, – сказала девушка пахарю и, сделав из своего фартука повязку, прикрыла ему рану, а ярмо пристроила так, что быку сразу стало куда удобнее.

Наконец она пришла на берег моря и увидела среди песчаных дюн серого гуся со сломанным крылом.

– Ах, бедняжка! – воскликнула она и, сняв юбку, разорвала ее на полоски и перевязала сломанное гусиное крыло.

А потом спустилась к воде. Тихо катились к берегу сверкающие морские волны. Девушка попробовала морскую воду – та была горько-соленой. Но далеко в море виднелся остров, этакая гора над искрящейся на солнце водой.

– Наверное, это там Колодец Моря, – промолвила она вслух, – но как же мне туда добраться? Мне ведь никогда до этого острова не доплыть.

Но все же она решила попробовать; сняла башмаки и уже входила в воду, собираясь плыть к острову, когда услышала позади какой-то плеск и увидела, что по мелководью к ней шлепает большой белый бык с серебряными рогами.

– Залезай мне на спину, – сказал ей бык, – и я отвезу тебя.

Девушка взобралась быку на спину и ухватила за рога. Они вошли в воду и поплыли.

Вскоре они добрались до далекого острова, но прибрежные скалы там оказались отвесными, как стены, и гладкими, как стекло.

– Как же мне залезть на эти скалы? – задумчиво промолвила девушка. – Уж больно они круты и высоки. Нет, не залезть мне. – Но все же она стала карабкаться вверх, и вдруг к ней подлетел серый гусь. Он был огромным, больше орла, и сказал ей:

– Садись ко мне на спину, я отнесу тебя. – Она уселась между крыльями, и гусь легко перенес ее на самую вершину горы. Там девушка обнаружила глубокий колодец с чистой водой, набрала этой воды в бутыл, и серый гусь отнес ее назад, на берег, а белый бык плыл за ними следом.

Но стоило серому гусю коснуться песка, как он превратился в человека – высокого, красивого юношу. И девушка увидела, что с правого его плеча свисают полоски ее разорванной на бинты юбки.

– Я правитель этого моря, – сказал он. – И очень хотел бы, милая, взять тебя в жены.

– Сперва я должна отнести эту воду матери, – ответила девушка.

И они вместе с юношей сели на спину белому быку и отправились в деревню. Мать девушки была уже совсем при смерти. Но стоило ей проглотить всего одну капельку принесенной воды, и она приподняла голову; потом проглотила еще капельку – и села. А после третьей капельки встала с постели и, выпив еще капельку, принялась танцевать от радости.

– Это самая сладкая вода в мире! – восклицала она. А потом вместе со своей младшей дочерью и повелителем моря уселась на спину белому быку и отправилась в его серебряный дворец, где и сыграли свадьбу. И вдова, совсем поправившись, весело танцевала на свадебном пиру.

– А муравьи? – прошептала Грай.

– Ах да, муравьи, – спохватилась моя мать. – Неужели же те муравьи оказались неблагодарными? Ничего подобного! Они тоже пришли на свадьбу, постаравшись ползти как можно быстрее, и принесли в подарок золотое кольцо, целых сто лет пролежавшее в земле под их муравейником; это кольцо и стало обручальным для младшей дочери вдовы.

– А в прошлый раз... – неуверенно начала Грай.

– Что – в прошлый раз?

– В прошлый раз ты говорила... ты говорила, что потом муравьи пошли и съели все печенье и все сласти, приготовленные к свадьбе старших сестер.

– Ну да, съели. Это им раз плюнуть. Муравьи вообще много чего умеют. Но самое главное – они вездесущи, то есть могут повсюду быть как бы одновременно, – совершенно серьезно заверила ее моя мать. А потом вдруг рассмеялась, и мы тоже стали смеяться с нею вместе, потому что она совсем позабыла про муравьев.

Вопрос Грай: «А что такое книга?» – заставил мою мать задуматься о таких вещах, на которые в Каменном Доме Каспроманта либо вовсе не обращали внимания, либо просто позабыли, что такое существует на свете. Никто в Каспроманте не умел ни читать, ни писать; а овец мы пересчитывали, делая зарубки на палочке. И это у нас совсем не считалось зазорным, но моя мать говорила, что это сущий позор. Не знаю уж, думала ли она когда-либо о том, чтобы вернуться в родные края – хотя бы на время, в гости, – или о том, чтобы пригласить своих родных в гости к нам; только вряд ли это было возможно. Но судьба детей ее тревожила. Она и представить себе не могла, чтобы ее сын отправился в широкий мир неученым, неграмотным, точно распоследний нищий с городских улиц. Нет, такого ей гордость никогда не позволила бы!

В Верхних Землях книг сроду не водилось, и мать решила сделать книгу сама. Она покрыла глазурью квадратики тонкого льняного полотна, распрямила их катками для глажки, сделала из дубовых орешков чернила, заточила гусиные перья и написала для нас букварь. А потом стала учить нас читать и писать – сперва мы писали палочками на земле, потом гусиными перьями на растянутом и выглаженном полотне. Затаив дыхание, мы старательно цара-

пали перьями и без конца сажали огромные кляксы. Но мать стирала полотно, смывая бледные чернила, и мы снова могли писать. Грай все это казалось очень трудным, но она продолжала занятия – исключительно из любви к моей матери. А мне чтение и письмо ужасно нравились и представлялись самым легким занятием на свете.

– Напиши мне книгу! – просил я, и Меле записала для меня историю Раниу. Она отнеслась к этой работе очень ответственно. Надо помнить, какое образование дали ей в родном доме, так что она, конечно, сразу решила, что моей первой – а возможно, и единственной – книгой должно быть жизнеописание какого-нибудь святого. Она довольно хорошо помнила содержание «Истории чудесных деяний лорда Раниу», а чего не помнила наизусть, то пересказала своими словами. Я получил эту книгу в подарок, когда мне исполнилось девять лет: сорок прямоугольных «страниц», от края до края исписанных бледными четкими буквами и прошитых по краю синими нитками. Я много раз разглядывал и читал эту книгу. Даже выучив ее наизусть, я все равно продолжал перечитывать ее, бережно храня это рукописное творение не столько из-за самой истории, которая в нем излагалась, сколько из-за того сокровенного, что стояло за этими страницами. За ними мне виделись все остальные истории, которые рассказывала мне мать, а также все те истории, которые никто и никому еще никогда не рассказывал.

Глава 5

Я помню, что и отец продолжал учить меня, но, поскольку из меня вряд ли мог получиться второй Каддард, способный терроризировать всех своим неуправляемым даром, ему оставалось лишь рассказывать, как мне следует тренировать свою волю и глаз, и терпеливо ждать, когда мой дар проявится сам. Он говорил, что ему было девять лет, когда он впервые сумел на расстоянии уничтожить слепня. Отец, по природе своей человек крайне нетерпеливый, старательно вырабатывал в себе терпение путем строжайшего самовоспитания и был уверен, что и я впоследствии смогу справиться со своими недостатками. Он довольно часто испытывал меня, а уж я старался изо всех сил – ел глазом предмет, властно указывая на него рукой, и шепотом произносил те магические слова, которые должны были пробудить мой дар и мою волю.

– А что такое воля? – как-то спросил я отца.

– Твердое намерение, – сказал он. – Ты должен иметь твердое намерение непременно заставить свой дар заработать. Потому что, если им пользоваться без особого желания, можно натворить больших бед.

– А что ты чувствуешь, когда пользуешься им?

Отец нахмурился, довольно долго думал и наконец сказал:

– Это все возникает как бы сразу. – Его левая рука непроизвольно шевельнулась. – И ты чувствуешь себя узлом, ты крепко держишь сразу дюжину тонких и прочных нитей, которыми управляешь. Или как если бы ты стал вдруг луком, в котором не одна тетива, а дюжина, и все они натянуты так, что ты с трудом их удерживаешь, пока сам себе не скажешь: «Пора!» И тогда твоя сила вылетает из тебя, точно множество стрел сразу.

– Значит, ты как бы приказываешь своей силе разрушить то, на что смотришь?

Отец снова нахмурился:

– Понимаешь, об этом невозможно рассказать словами. Я и слов-то таких не знаю.

– Но ты же рассказал... Ты же знал, что сказать, правда?

Но я уже понял, что имел в виду Канок: ЭТО всегда бывает по-разному и обозначить ЭТО одним и тем же словом невозможно, а может, и слова-то такого в языке вообще нет. То, что он произносил, пользуясь своим даром, звучало скорее как сильный выдох, этакое «Ха!» – словно у человека, совершающего значительное и резкое движение всем телом; но все же был в этом звуке и некий тайный смысл, которого я никак не мог постигнуть, хоть и старался во всем подражать отцу.

– Это приходит само собой... И наш дар начинает действовать. – Вот и все, что сумел сказать мне отец. Такие разговоры были для него очень мучительны, потому что он не мог ответить на мои вопросы. Впрочем, мне и не следовало их задавать. Да, определенно, мне не следовало их задавать!

Тревога моя стала усиливаться, когда мне исполнилось двенадцать, потом тринадцать, но мой дар все никак не проявлялся. Эта тревога преследовала меня не только наяву, но и во сне: мне без конца снилось, что я вот-вот совершу некий великий подвиг, разрушу до основания огромную каменную башню и уничтожу всех жителей какого-то вражеского селения... А иногда, уже совершив нечто подобное, я пробирался к дому среди руин и безликих мертвецов, в телах которых совсем не осталось костей... Но почему-то мне всегда снился тот период, который либо предшествует акту уничтожения, либо следует непосредственно за ним.

Когда я просыпался после такого сна, сердце мое стучало в груди, точно копыта лошади, бегущей галопом, но я старался поскорее взять себя в руки, отогнать владевший мной ужас, ибо так мне велел поступать Канок. Дрожа от неведомого страха и едва дыша, я впивался взглядом в резной набалдашник в изножье кровати, едва видимый в предраассветной мгле, и поднимал

левую руку по направлению к нему, исполненный решимости сокрушить этот черный деревянный узел. Потом с силой выдыхал воздух из груди – «Ха!» – и, крепко зажмурившись, молился про себя, чтобы мое заветное желание, моя воля были наконец исполнены. Но когда я открывал глаза, деревянный набалдашник оказывался ничуть не поврежденным. Значит, время мое еще не пришло, с горечью думал я.

Пока мне не исполнилось четырнадцать, мы почти не поддерживали отношений с Драммантом. Наибольшую опасность среди наших соседей представлял для нас Эррой из Гереманта, с которым мы пребывали в состоянии настороженной враждебности. Нам с Грай было строжайшим образом запрещено ходить в сторону границы с его владениями, которая проходила через Рябиновую рощу. Мы подчинились. Мы не раз видели и Бента Гоннена, и того человека, у которого руки были вывернуты назад. Брантор Эррой сотворил это с ним в одном из приступов особой веселости – подобные вещи он называл шутками. А тот, с вывернутыми руками, был одним из его серфов. «Взял и в один миг сделал человека совершенно бесполезным! – сокрушались наши люди. – И зачем?» Но громко критиковать брантора Эрроя никто не осмеливался. Он явно был не в своем уме, но вслух этого никто не говорил. Все помалкивали, хотя намеки отпускали достаточно прозрачные.

От Каспроманта Эррой старался держаться подальше. Правда, он изуродовал спину нашему серфу Гоннену, но Гоннен, что бы он там сам ни говорил, наверняка все же перешел заповедную черту и воровал лес в Гереманте. По законам Верхних Земель это до некоторой степени оправдывало даже столь жестокое наказание. Мой отец, правда, мстить Эррою не стал, но поднялся в Рябиновую рощу, подождал, когда Эррой будет неподалеку и сможет увидеть, что произойдет. А затем Канок призвал свою силу, и ужасная полоса разрушений пролегла через всю рощу вдоль границы Каспроманта и Гереманта, – казалось, там пролетела шаровая молния, уничтожая все на своем пути и оставляя по краям частокол из мертвых, обугленных, покрытых черной листвой деревьев. Канок ни слова не сказал Эррою, хотя знал, что тот притаился в дальнем конце рощи, наблюдая за происходящим. Эррой тоже ничего ему не сказал, но больше вблизи той границы, что проходила по роще, его никто никогда не видел.

Еще со времен своего налета на Дьонет мой отец пользовался незыблемой репутацией человека опасного. И ему не требовалось устраивать какие-то эффектные представления, чтобы эту репутацию подтвердить. «Быстрый глаз у этого Каспро!» – говорили люди. И я каждый раз испытывал дикую гордость, услышав это. Я гордился отцом, нашим родом и нашим даром.

Геремант был довольно бедным краем, и управлял им Эррой плохо, так что особая опасность с той стороны нам не грозила. А вот Драммант – совсем другое дело. Это был край вполне благополучный, и с каждым годом он становился все богаче. Говорили, что члены семейства Драм давно лелеют надежду стать бранторами всех земель Каррантагов, – впрочем, они и без того вели себя чрезвычайно высокомерно и нахально, требовали с более слабых соседей то военный налог, то дань, словно были правителями всех Верхних Земель! И все же более слабые поместья старались откупиться от них – платя овцами, или коровами, или шерстью, или даже серфами, которых Драм и вымогал у них, а иногда и попросту крал. Его боялись, ибо дар этого рода был действительно страшен. Он действовал медленно, и действие его сперва казалось незаметным – в отличие, скажем, от дара ножа или нашего дара разрушения связей. Но Огге из Драмманта мог пройти, например, по вашему полю или пастбищу, и на следующий год зерно непременно начало бы гнить в земле сразу после посева, а на пастбище в течение многих лет не выросло бы ни травинки. Он мог наслать страшную болезнь, далеко не сразу заметную глазу, на овечью отару, на стадо коров, на чью-то семью...

Все до одного умерли в Римманте, маленьком поместье близ юго-западной границы Драмманта. Брантор Огге явился туда со своими требованиями, но брантор Римманта встретил его на пороге и с презрением велел убираться прочь, пригрозив применить свой дар огня. Огге

ушел, а ночью прокрался к их дому и, не торопясь, воспользовался своим даром, – по слухам, его дар заключался не в способности действовать взглядом, словом, рукой и волей, а в нашептывании каких-то особых слов и в сотворении особых жестов, так что это были настоящие магические чары, для плетения которых требовалось известное время. И вскоре все семейство Римм и всех людей в их доме поразил странный и тяжкий недуг, и в течение последующих четырех лет там умерли все до одного.

Канок сомневался в правдивости этой истории – во всяком случае, в том виде, в каком ее обычно рассказывали. «Драм не мог применить свой дар в темноте, да еще будучи снаружи дома, когда они все были внутри, – уверенно возражал он. – Его дар похож на наш и действует через глаза. Возможно, Драм просто рассыпал там какую-то отраву. А может, жителей Римманта поразила болезнь и вовсе не имевшая к Драму никакого отношения». И тем не менее все считали Огге Драма причиной гибели жителей Римманта. А он, разумеется, не замедлил этим воспользоваться, тут же присоединив земли Римманта к своим владениям.

Но нас все эти распри долгое время совершенно не касались. А потом два брата Корде вдруг принялись враждовать из-за наследства и титула брантора Кордеманта, и Огге Драм, направив большой вооруженный отряд в южную часть Кордеманта, заявил, что сделал это в целях сохранения мира. Братья продолжали ссориться – ах, глупцы! – и не заметили, как Огге втихомолку отхватил лучшую часть их земель. И теперь Драммант стал граничить на юге непосредственно с Каспроммантом. Так Огге Драм стал нашим соседом.

И с тех пор настроение у моего отца становилось все более мрачным. Он чувствовал, что и его семья, и все жители Каспромманта подвергаются опасности, а защитить нас может лишь он один. Чувство ответственности у него было развито чрезвычайно; и свой дар он считал привилегией, накладывавшей на него определенные обязательства; для него, таким образом, могущество являлось и определенным ограничением свободы. Будь он молод и не женат, то, я думаю, вполне мог бы поднять своих людей и пойти на Драммант войной, чтобы сразу решить все вопросы, даже если б для этого пришлось поставить на карту собственную жизнь. Но Канок был хозяином своих владений, он отвечал за судьбы многих людей, у него была молодая беззащитная жена, малолетний сын, и никто из его родственников не обладал столь же могущественным даром, как у него, и не мог встать с ним плечом к плечу на защиту своей земли. Кроме, как он, возможно, надеялся, подрастающего сына.

Вот тут-то и крылась загвоздка, которая усиливала тревогу Канока. Его сыну было уже тринадцать лет, но он не проявлял ни малейших признаков фамильного дара.

Я давно уже наизусть выучил все уроки отца насчет того, как этим даром пользоваться, но применить свои знания на практике я не мог. Это было все равно что учиться ездить верхом, не имея возможности хотя бы посидеть в седле.

Я знал, как остро и сильно это тревожит Канока, ибо он был не в силах скрыть это. И тут Меле не могла служить ему ни помощью, ни утешением, как служила во всем остальном; не могла она и быть между нами посредником, чтобы хоть отчасти облегчить тот груз, который мы невольно взвалили друг другу на плечи. Ибо она ничего не знала ни о самом даре, ни о том, как он действует. Все это было ей совершенно чуждо. Она ведь была чужой в наших краях. Она никогда даже не видела, как Канок пользуется своей силой, – впрочем, нет, один раз все-таки видела: тогда, на рыночной площади в Дьонете, когда он убил одного из нападавших и искалечил другого. А в Каспромманте ему совершенно не хотелось демонстрировать жене свой дар разрушения. Тем более что его дар пугал Меле; она его не понимала или, точнее, понимала лишь отчасти.

Оставив в Рябиновой роще целую просеку из вывороченной земли и мертвых деревьев для устрашения Эрроя, Канок использовал свой дар только для того, чтобы показать мне, как это делается и какова цена такой страшной способности. Он никогда не пользовался этим даром во время охоты: разрушенные кости и внутренние органы зверей приводили людей в

такой ужас, что никому и в голову бы не пришло есть такую дичь. Да и вообще, Канок считал, что подобный дар не годится, так сказать, для повседневного использования и подходит только для дел действительно серьезных. Так что Меле иногда почти забывала о том, что ее муж наделен столь ужасным даром, и тем более не видела никаких причин беспокоиться, что у меня этот дар может и не проявиться.

И, лишь услышав наконец, что я впервые попробовал свою силу, она встревожилась.

Встревожился и я.

Мы ехали рядом с отцом – он на своем сером жеребце, а я на Чалой. С нами был еще Аллок, один наш молодой фермер, тоже из рода Каспро и тоже умевший «кое-что делать глазами» – например, развязывать узлы и т. п. Возможно, он мог бы даже убить крысу, если бы, по его собственным словам, смотрел на нее столько времени, вот только ему не попадалось таких крыс, которые захотели бы достаточно долго торчать у него перед носом и ждать, когда он соизволит наконец их укокошить. Аллок был парень добродушный, очень любил лошадей и прекрасно с ними ладил, – в общем, из него получился отличный конюх, о котором так долго мечтал мой отец. Аллок ехал на молодом, двухгодовалом жеребчике, сыне нашей Чалой. Мы старательно его обучали, ибо мой отец был уверен, что из него получится такой же могучий рыжий жеребец, на каком он когда-то скакал в Дьюнет.

Мы добрались до наших юго-западных пастбищ, где паслись овечьи отары, внимательно поглядывая по сторонам, хотя Канок нас к этому и не призывал; нелишним было проверить, не забредали ли в наши земли непрошенные гости из Драмманта, не смешались ли их овцы с нашими, потому что потом их пастухи запросто могли потребовать своих овец назад, а заодно прихватить и несколько наших. Об этой их привычке нас давно предупреждали жители Кордеманта, в течение долгого времени жившие с Драммом бок о бок. Мы действительно примечали несколько чужих животных среди наших горных овечек, покрытых грубоватой курчавой шерстью. Пастухи у нас красили овцам уши луковым отваром, чтобы их легко было отличить, скажем, от овец Эрроя, который вечно разрешал своим пастухам пускать овец на наши пастбища, а потом еще и заявлял, что мы «украли его животных». Впрочем, с тех пор как мой отец «отметился» в Рябиновой роще, Эррой подобными вещами заниматься перестал.

Мы свернули южнее, отыскивали пастуха с собаками и велели ему отсечь овец, принадлежащих Драмму, и отогнать их за пределы наших владений. Затем мы снова поехали на запад и, увидев в ограде пролом, принялись его латать. Лицо Канока, когда он, закончив работу, снова сел на коня, совсем помрачнело. Мы с Аллоком в испуганном молчании ехали за ним следом. Мы спускались по склону холма, когда жеребец отца, Грейлаг, поскользнулся, наступив передней ногой на скрытую в траве сланцевую пластину, дико взбрыкнул, но на ногах устоял. Канок тоже в седле удержался, но все же низко наклонился, чтобы посмотреть, не вывихнул ли Грейлаг ногу. И тут я заметил на таком же плоском камне, куда в следующее мгновение должен был ступить Грейлаг, гадюку, приготовившуюся к нападению. Я громко закричал и указал на змею. Канок, осадив коня, посмотрел сперва на меня, потом на змею, взмахнул левой рукой и преспокойно уселся в седло – все эти действия он проделал, казалось, в одну секунду. Грейлаг резко, на всех четырех ногах прыгнул в сторону, спасаясь от ядовитой твари.

А гадюка лежала на камне и была похожа на сдернутый с ноги чулок, плоская и безжизненная.

Мы с Аллоком так и застыли в седлах, в ужасе глядя на нее; у обоих левые руки замерли в воздухе, по-прежнему указывая в том направлении.

Канок погладил Грейлага по шее, успокоил его и осторожно спешил. Осмотрев мертвую змею, он внимательно глянул на меня и сказал с каким-то странным выражением на лице – застывшим и одновременно свирепым:

– Неплохо, сынок.

Я с глупым видом уставился на него.

– Действительно неплохо! – подхватил Аллок, сияя во весь рот. – Клянусь священным камнем, это же страшно ядовитая тварь! И крупная какая! Вполне могла прокусить нашему брантору ногу до кости!

Я посмотрел на голые, мускулистые и смуглые ноги отца.

Аллок спрыгнул с седла и подошел к камню поближе, чтобы посмотреть на мертвую гадюку, потому что рыжий жеребчик даже с места сдвинуться не желал.

– Ну точно! Совсем дохлая! – с удовольствием воскликнул Аллок. – И видно, сильный глаз на нее действовал! Посмотри, видишь у нее ядовитые клыки? Отвратительная тварь! – Он сплюнул, помолчал и снова повторил: – Да, сильный у тебя глаз!

– Но я не... – И я растерянно посмотрел на отца.

– Эта змея была уже мертва, когда я ее увидел, – сказал Канок.

– Но ведь ты...

Он нахмурился, хотя и не слишком сердито.

– Это ведь ты ее ударил? – спросил он.

– Точно, он! – вмешался Аллок. – Я сам видел! Молодец, Оррек! И глаз у тебя быстрый как молния!

– Но я...

Канок продолжал внимательно смотреть на меня, и взгляд его был настолько суров, что я снова осекся.

Впрочем, помолчав, я все же попытался объяснить:

– Но ведь и сегодня все было, как и прежде, когда у меня ничего не получалось... – Я еще немного помолчал. Мне хотелось плакать. Все это случилось так неожиданно; и похоже, я что-то сделал, но ничего не чувствовал и даже не заметил, как сделал это. – Я ничего особенного не почувствовал, – признался я с трудом.

Отец еще некоторое время молча смотрел на меня, потом сказал:

– И все же это произошло. – И больше он не прибавил ни слова; легко вскочил в седло и двинулся дальше. Аллок был занят ловлей рыжего жеребчика, который больше не желал, чтобы на нем ехали верхом, так что тот странный миг миновал. И мне не хотелось оборачиваться, не хотелось смотреть на то, что прежде было змеей.

Мы поехали дальше, к ограде, тянувшейся вдоль границы, и нашли то место, где к нам перебирались овцы Драма; камни из ограды здесь явно вынули совсем недавно. Остаток утра мы потратили на восстановление ограды, отыскав проломы и еще в нескольких местах поблизости.

Мне все еще настолько не верилось, что я мог убить ту змею, что я старался даже не думать об этом, и отец вечером застал меня врасплох, вдруг заговорив о моем «подвиге» с матерью. Он сообщил ей об этом кратко и сухо, в своей обычной манере, и мать даже не сразу поняла, что сегодня я наконец проявил свой дар и, возможно, спас жизнь отцу. Она, как и я, тоже очень растерялась, и вместо слов похвалы или радости у нее вырвались лишь слова тревоги.

– Так они, значит, такие опасные, эти гадюки? – все повторяла она. – А я и не знала, что они такие ядовитые. Но ведь они же могут заползти куда угодно, а там дети бегают, играют!

– Ну да, – сказал Канок. – Их на холмах всегда было полным-полно. К счастью, они не подползают слишком близко к домам.

То, что наша жизнь с детства неизбежно и постоянно подвергалась риску, Канок воспринимал как некую данность, и Меле порой приходилось пересиливать себя, чтобы примириться с этим. Получалось это у нее не слишком хорошо, но, с другой стороны, она всегда была защищена от любой угрозы. Канок делал для этого все возможное; и раньше никогда ей и не лгал.

– Между прочим, именно гадюки и дали нашему дару одно старинное название, – сказал он матери. – Раньше его часто называли «дар гадюки». – Канок быстро глянул на меня – лишь глаза блеснули, и взгляд их был мрачен и тверд; это был тот же взгляд, что и там, на склоне холма. – Их яд и наш дар действуют примерно одинаково.

Меле охнула, притихла. Потом сказала все же:

– Я знаю, ты рад, что этот дар у Оррека все-таки проявился. – Немало мужества ей потребовалось, чтобы это сказать.

– А я никогда и не сомневался, что он проявится, – ответил отец. Это было сказано, чтобы подбодрить и ее, и меня, но я не уверен, что она или я были способны принять такую поддержку.

В ту ночь я очень долго не мог уснуть, что, согласитесь, странно для подростка моих лет. Я снова и снова обдумывал случившееся, и тревожные сомнения все глубже проникали в мою душу. Наконец я все же уснул, и снились мне тревожные и странные сны. Проснулся я очень рано, встал и сразу пошел на конюшню. В кои-то веки я оказался там раньше отца, но и он вскоре тоже пришел, зевая, протирая заспанные глаза.

– Здравствуй, Оррек, – сказал он.

– Отец, – сказал я, – я хочу... насчет той змеи...

Он слегка наклонил голову.

– Я знаю: я старался использовать и руку, и глаз, но я не думаю, что убил ее. Моя воля... Я же ничего не почувствовал! Все было точно так же, как и раньше. – Горло у меня болезненно сдавило, глаза щипало.

– Но ты же не думаешь, что это сделал Аллок? – с легким презрением сказал отец. – Он на такое не способен.

– А ты? Это ведь ты ударил ее?..

– Нет. Когда я ее увидел, она была уже мертва, – повторил он в точности те же слова, что и вчера. И все же мне показалось, что в его голосе и глазах проскользнула некая искра задумчивости, или вопрос, или даже сомнение. Но это продолжалось лишь мгновение. К нему тут же вернулась прежняя твердость, хотя лицо его все еще было несколько размягченным, но уже не таким, каким я его увидел, когда он стоял в дверях конюшни и сонно зевал. – Да, я ударил эту змею, – сказал он. – Но после того, как это уже сделал ты. Я уверен, что первым был ты. И ты сделал это очень быстро – и рукой, и глазом.

– Но как же я тогда смогу узнать, что воспользовался своим даром, если... если мне кажется, что все осталось по-прежнему? Как и тогда, когда у меня ничего не получалось?

Мои вопросы явно застали отца врасплох. Он нахмурился, задумался, а потом сказал не слишком уверенно:

– А может быть, тебе прямо сейчас попробовать еще раз, Оррек? На чем-нибудь маленьком, незначительном? Ну, например, на этой вот травке? – И он указал на кустик одуванчика, выросший между камнями двора рядом с конюшней.

Я уставился на одуванчик полными слез глазами. Я не смог их сдержать, закрыл руками лицо и расплакался.

– Я не хочу, не хочу! – выкрикивал я. – Я не могу! Не могу и не хочу!

Отец подошел ко мне, опустил на колени, обнял меня и дал мне выплакаться.

– Все хорошо, дорогой, – сказал он, когда я стал наконец успокаиваться. – Все будет хорошо. Но это действительно очень нелегко – привыкать к своему дару. Иди-ка умойся.

И больше мы с ним о моем даре не говорили – во всяком случае, некоторое время.

Глава 6

После этого в течение нескольких дней мы специально ездили с Аллоком в те места. Мы чинили, а кое-где и перекладывали каменную изгородь вдоль наших юго-западных пастбищ, ясно давая пастухам по ту сторону границы понять, что в этой изгороди нам знаком каждый камень и мы сразу заметим, если они хоть один расшатают или вынут. И на третий или четвертый день мы увидели, что к нам по длинному пологому склону холма направляется группа всадников. Они ехали напрямик через те пастбища, что некогда принадлежали роду Корде, а теперь стали собственностью Драмманта. Овцы с громким блеянием разбежались в разные стороны, ибо всадники мчались с приличной скоростью, и скорость эта все увеличивалась, ведь участок земли там был почти ровным. День стоял облачный, туманный, и мы насквозь промокли от мелкого дождя, сеявшегося с неба, и все перепачкались, таская мокрые грязные камни.

– Ох, клянусь священным камнем, это же сам старый змей! – пробормотал Аллок. Но мой отец так на него глянул, что он сразу примолк, а отец, повернувшись к подъехавшим всадникам, сказал громко и спокойно:

– Доброго дня тебе, брантор Огге.

Мы с восторгом смотрели на драммантских коней. То были поистине прекрасные животные. Брантор ехал на великолепной медового цвета кобыле, которая, впрочем, выглядела слишком изящной и хрупкой для его массивной фигуры. Огге Драму было лет шестьдесят, но он был еще могуч: грудь как бочка, бычья шея. На нем были черный килт и куртка горца, но и то и другое из тонкой тканой шерсти, а не из фетра, и на коне уздечка была серебряная. Его голые голени бугрились мускулами. Я в основном видел именно его здоровенные голые ножищи, а лицо – лишь мельком, потому что в глаза ему смотреть не решался. Сколько себя помню, я слышал о бранторе Огге только плохое. Да и сейчас это стремительное приближение его вооруженного отряда – Огге лишь у самой ограды натянул вожжи – тоже радостных надежд не сулило.

– Чинишь ограду, Каспро? – спросил он густым, но неожиданно добродушным басом. – Хорошее дело. У меня есть несколько человек, отлично владеющих искусством сухой кладки. Я пришлю их тебе, пусть помогут.

– Мы сегодня как раз все заканчиваем, – сказал Канок, – но все равно спасибо за предложение.

– А я все-таки их пришлю. У ограды ведь две стороны, верно?

– Что ж, пусть работают, – любезно согласился мой отец, но лицо у него было при этом тверже камня, который он держал в руках.

– Один из этих парнишек ведь твой, верно? – сказал Огге, разглядывая Аллока и меня. Оскорбление было хорошо замаскировано. Он наверняка знал, что сын Канока – еще мальчишка, а не двадцатилетний молодой человек. Ему просто хотелось намекнуть, что он не в силах отличить сына брантора от простого серфа. Во всяком случае, мы трое восприняли это именно так.

– Мой, – ответил отец, не называя меня и явно не собираясь меня ему представлять. Он на меня даже не взглянул, и Огге, сменив тему, сказал:

– Теперь, когда наши земли граничат друг с другом, я хочу пригласить вас с женой погостить у нас в Драмманте. Если я, скажем, подъеду к тебе через денек-другой, ты дома будешь?

– Непременно, – ответил Канок. – И буду очень рад принять тебя.

– Хорошо, хорошо. Я заеду. – Огге небрежно махнул рукой в великодушном прощании, ударил пятками по бокам кобылы и легким галопом двинулся во главе своей свиты вдоль каменной ограды.

– Ах, – выдохнул Аллок, – какая очаровательная кобылка! Прямо вся медовая! – Он был помешан на лошадях не меньше моего отца. Оба только и думали, как бы улучшить поголовье нашего жалкого «табуна», и строили всякие планы. – Вот бы ее спарить с Бранти! Через годок, глядишь, такой отличный жеребенок мог бы получиться!

– А какую цену пришлось бы за это заплатить? – резко возразил Канок.

После этой встречи отец часто бывал очень напряженным и сердитым. Матери он велел быть постоянно готовой к визиту Огге, и она, разумеется, послушалась. А потом они стали ждать. Канок никуда из дома не отлучался, не желая, чтобы Меле принимала брантора Огге в одиночку. Однако прошло, наверно, с полмесяца, прежде чем он соизволил наконец явиться.

Сопровождение у него было все то же – в основном люди из его рода, но никаких женщин. Мой отец в своей бескомпромиссной гордости воспринял это как оскорбление. И не спустил его обидчику.

– Жаль, что жена с тобой не приехала! – воскликнул он без улыбки.

И Огге тут же принялся извиняться и оправдываться, говоря, что его жена страшно занята: «Столько забот, ты ж понимаешь?» – и к тому же в последнее время она неважно себя чувствует.

– Но в будущем она надеется приветствовать вас в Драмманте, – сказал он, поворачиваясь к Меле. – В былые-то времена мы куда чаще ездили в гости к соседям. Одичали мы у себя в горах; совсем позабыли о древних обычаях, а ведь горцы всегда отличались гостеприимством. В городах-то оно, конечно, иначе; там, говорят, у каждого человека соседей – что ворон на падали.

– И там по-разному бывает, – спокойно заметила моя мать. Рядом с его медвежьей тушей она казалась совсем маленькой и хрупкой, но пугливой не выглядела и говорила тихо, как всегда, несмотря на громовые раскаты его голоса, в котором постоянно чувствовалась скрытая угроза.

– А это, должно быть, твой парнишка? Впрочем, я его и в тот раз видел. – И он вдруг повернулся ко мне. – Его, верно, Каддард зовут?

– Оррек, – сказала моя мать, поскольку я безмолвствовал, но вежливо поклониться все же себя заставил.

– А ну-ка, Оррек, дай на тебя поближе посмотреть, – прогремел у меня над головой его бас. – Небось опасаясь дара Драмов, а? – обидно засмеялся он.

Сердце мое билось уже почти в горле, мешая дышать, но я заставил себя высоко поднять голову и посмотреть прямо в его огромное лицо, нависшее надо мной. Глазки Огге почти скрывались в тяжелых набрякших веках и казались узкими щелками; и взгляд у него был такой же холодный и равнодушный, как у змеи.

– Я слышал, ты уже проявил свой дар? – Змеиные глаза его блеснули, когда он быстро глянул на моего отца.

Разумеется, Аллок тогда растрезвонил всем в доме о том, как я убил гадюку, но меня всегда удивляло, как быстро любая молва перелетает в горах с места на место и ее тут же узнают все, даже те, кто друг другу и слова ни разу в жизни не сказал.

– Да, проявил, – ответил ему Канок, глядя при этом на меня, а не на Огге.

– Значит, слухи, несмотря ни на что, были верными! – Огге отчего-то даже обрадовался и заговорил так тепло и горячо, что мне и в голову не пришло, к чему он на самом деле клонит, а ведь на уме у него было дерзкое оскорбление в адрес моей матери. – Истинный дар рода Каспро – вот что сейчас мне хотелось бы видеть! У нас, в Драмманте, из вашего рода есть лишь несколько женщин, они, конечно, отчасти сохраняют этот дар, да только применить его не могут. Может быть, молодой Оррек устроит для нас небольшое представление? Ты как, парень, не против? – Бас Огге звучал дружелюбно, но настойчиво. Отказаться было невозможно. Я ничего не сказал, но вежливость требовала хоть какого-то ответа, и я кивнул.

– Хорошо, тогда мы отловим несколько змей к твоему приезду. Или, может, ты лучше избавишь наши амбары от крыс и кошек, если тебе это больше по нраву? Я рад услышать, что дар Каспро сохранился, несмотря ни на что. – Это он сказал все тем же добродушным гулким басом, обращаясь уже к моему отцу. – Дело в том, что есть у меня одна мыслишка – насчет моей внучки, дочери младшего сына, – и эту мыслишку мы вполне можем обсудить, когда вы придете в Драммант. – Огге встал и повернулся к моей матери. – Ну вот, теперь ты видела, что я не такое уж чудовище, как тебе, наверно, рассказывали. Надеюсь, ты окажешь нам честь? Скажем, в мае, хорошо? Когда дороги подсохнут.

– С удовольствием, – сказала Меле, тоже встала и поклонилась ему, сложив пальцы под подбородком кончиками друг к другу, – это жест вежливого уважения у жителей Нижних Земель, хотя у нас он совершенно не принят.

Огге так и уставился на нее. Как если бы этот жест вдруг сделал Меле видимой для него. До того он почти и не смотрел ни на кого из нас. Она стояла с выражением почтения и отчужденности на лице, очень красивая и гордая, и красота ее была совершенно не похожа на красоту наших женщин: она была такая тонкая, легкая, быстрая, живая. Я видел, как меняется громадная физиономия Огге от наплыва самых невероятных чувств; я мог лишь догадываться об их происхождении: они были порождены удивлением, завистью, неутоленным голодом, ненавистью...

Потом Огге окликнул своих людей, которые с удовольствием угощались за столом, накрытым для гостей моей матерью, и, вскочив на коней, они тут же поехали прочь. А Меле, посмотрев на остатки пиршества, сказала: «Что ж, они неплохо поели», – и в ее голосе чувствовалась гордость хозяйки и одновременно некоторое разочарование, потому что на столе не осталось ничего из тех лакомств, которые она с такой заботой и усердием готовила, рассчитывая побаловать ими и нас.

– Точно вороны на падали, – сухо процитировал Канок.

И Меле со смехом заметила:

– Да уж, он явно не дипломат!

– Вряд ли кто-нибудь знает, кто он на самом деле. Интересно, зачем он приезжал?

– Похоже, его интересовал Оррек.

Отец глянул на меня: мне явно полагалось теперь уйти, но я точно врос в пол, во что бы то ни стало желая дослушать.

– Возможно, – сказал он, явно стараясь перевести разговор на другую тему, чтобы я все-таки ушел и не смог услышать, что он еще скажет матери.

Но мать мое присутствие совершенно не смущало.

– Неужели он всерьез говорил о помолвке? – спросила она.

– Та девочка как раз подходящего возраста.

– Но Орреку еще нет и четырнадцати!

– Она чуть младше. Я думаю, ей лет двенадцать-тринадцать. Зато мать у нее из рода Каспро.

– И что? Неужели только поэтому двое детей должны отныне считаться женихом и невестой?

– А что тут такого? – сказал Канок довольно жестким тоном. – Это ведь всего лишь первичная договоренность. Помолвка. До свадьбы нужно подождать еще несколько лет.

– Но они ведь совсем дети! Какие тут могут быть предварительные договоренности!

– Лучше все-таки решать подобные вещи раз и навсегда. От брака в наших краях зависит слишком многое.

– Даже слышать об этом не желаю! – помотала она головой. Она говорила тихо и отнюдь не высокомерно, однако возражала отцу крайне редко; возможно, именно это и вынудило его,

и без того пребывавшего в страшном напряжении, перейти ту границу, которую он в ином случае никогда переходить бы не стал.

– Я не знаю, что задумал Драм, но если он предлагает помолвку, то предложение это весьма великодушное, и нам следует отнестись к нему со всем вниманием. Другой девушки, действительно принадлежащей к роду Каспро, нет во всем Западном крае. – Канок посмотрел на меня, и я невольно вспомнил, что именно таким задумчивым оценивающим взглядом он смотрит на жеребчиков и молодых кобыл, решая, какое у той или иной пары получится потомство. Потом он отвернулся и сказал: – Мне только совершенно непонятно, с какой стати он вдруг решил предлагать это нам. Возможно, он надеется на некую компенсацию...

Меле молча смотрела на него.

Нет, все это надо было срочно обдумать! Неужели Огге хочет как-то оправдаться перед отцом за то, что когда-то увел у него из-под носа всех трех невест, способных сохранить чистоту рода Каспро, и заставил его отправиться искать себе жену в Нижних Землях, где он в отчаянии и женился на такой, которая вообще, по нашим меркам, была без рода без племени?

Моя мать покраснела, такой красной я ее никогда не видел: ее смуглая кожа потемнела, как зимнее небо в час заката.

– А ты что же, ожидал... компенсации? – осторожно спросила она.

Но Канока, казалось, ничто не трогало; он оставался неколебимым как скала.

– Это было бы только справедливо, – сказал он. – И тогда у нас нашлись бы средства на починку каменных изгородей на границе наших владений. – Он прошелся по комнате. – Даредан была тогда еще совсем не старой. Не слишком старой, во всяком случае. Она же смогла родить Себбу Драму дочь. – Он снова подошел к нам и остановился, глядя в пол и что-то обдумывая. – Мы обязательно должны подумать над его предложением. Если он его повторит, конечно. Драм – очень опасный враг. Но он может быть и неплохим другом. И если уж он предлагает мне дружбу, я должен ее принять. Да и для Оррека такая возможность – самое лучшее, на что я мог надеяться.

Меле молчала. Она уже высказала свои соображения, и больше ей добавить было нечего. Если практика подобных помолвок между детьми и была ей внове и казалась отвратительной, то принцип договоренности родителей о браке для своих детей, как и использование брака в качестве финансового и социального залога, был ей хорошо знаком. А вот в вопросах отношений между хозяевами здешних владений, а также в сложностях, связанных с чистотой родословной, она совершенно не разбиралась и вынуждена была полагаться на опыт и знания моего отца.

Но у меня имелись собственные соображения на сей счет, и я, чувствуя, что мать скорее на моей стороне, решился высказаться.

– Но если вы помолвите меня с этой девушкой из Драмманта, – сказал я, – то как же Грай? Канок и Меле разом обернулись и посмотрели на меня.

– А что Грай? – спросил Канок, притворяясь, будто ничего не понимает, хотя получалось это у него очень плохо.

– Мы с Грай тоже хотели бы заключить помолвку.

– Ты еще слишком мал, чтобы что-то решать! – взорвалась моя мать и тут же поняла, что зашла слишком далеко.

Отец некоторое время стоял молча, потом заговорил – осторожно, медленно, тяжело роняя слова и после каждого предложения делая паузу:

– Мы с Терноком говорили об этом. Грай из великого рода, и фамильный дар очень силен в ней. Мать хочет помолвить Грай с Аннреном Барре из Кордеманта, чтобы сохранить чистоту их дара. Впрочем, ничего еще не решено. Но эта девушка из Драмманта действительно принадлежит к нашему роду, Оррек. И для меня это очень важно, да и для тебя тоже. И для

всех жителей Каспроманта. Такой возможностью пренебрегать нельзя. Драм – наш ближайший сосед, а родство – это наилучший способ наладить дружеские отношения.

– Но с Роддмантом-то мы всегда дружили! – возразил я уверенно.

– И я отнюдь не склонен недооценивать эту дружбу. – Отец задумчиво смотрел на разоренный стол и явно испытывал неуверенность, несмотря на все свои решительные заявления. – Впрочем, пока что тут не о чем говорить. Драм, возможно, ничего подобного более и не станет нам предлагать. Он ведь всегда одновременно пользуется и кнутом и пряником, а после ушата горячей воды может опрокинуть на тебя и ушат холодной. Вот поедем к ним в мае и постараемся разузнать, что имелось в виду. Вполне возможно, я неправильно его понял.

– Он, конечно, человек грубый и невоспитанный, но, как мне показалось, настроен вполне дружелюбно, – осторожно заметила Меле. «Грубый и невоспитанный» – в ее устах эти слова носили самый негативный смысл. Она применяла их ко всем. В данном случае это означало, что Огге Драм ей, безусловно, не понравился, но она чувствует себя неуверенно, ибо подобное безосновательное недоверие ей, вообще-то, совсем не свойственно. Видя в каждом человеке прежде всего доброжелательность, даже если ее там не было и в помине, она зачастую сама как бы создавала ее. И люди относились к ней с открытой душой; даже самые противные, вечно обиженные фермеры разговаривали с нею сердечно, а скупые на слова старухи из серфов веряли ей свои горести и печали, точно сестре.

Я не мог дожидаться, когда наконец увижусь с Грай и расскажу ей о визите Драма. Все это время меня держали дома, пока Огге наконец не осуществил свою прихоть. Обычно-то я был волен идти куда хочу, как только выполню всю порученную мне работу. В общем, на следующий же день я сказал матери, что поеду верхом в Роддмант. Она так посмотрела на меня своими ясными глазами, что я покраснел. Но вслух она ничего мне не сказала. И я пошел к отцу спросить, можно ли мне взять рыжего жеребчика. В этот раз, разговаривая с Каноком, я отчего-то испытывал непривычную уверенность. Во-первых, он видел, как я продемонстрировал наш фамильный дар, и, во-вторых, слышал мои смелые речи после визита Огге и заявления о возможной помолвке с его внучкой. И меня совсем не удивило, когда он разрешил мне взять рыжего Бранти и даже не напомнил, чтобы я держал его подальше от коров и быков, а потом не забыл выгулять как следует. А ведь он непременно напомнил бы мне об этом еще совсем недавно! Но тогда я был мальчишкой тринадцати лет, а теперь стал вполне взрослым, четырнадцатилетним мужчиной.

Глава 7

Я отправился в путь и, как всякий мужчина, был исполнен ощущения собственной важности и ответственности за близких. Рыжий Бранти бежал легким приятным галопом, и на пологих открытых склонах холмов его галоп напоминал скорее полет птицы. Он, кстати, не обращал ни малейшего внимания на глупых коров, пяливших на него глаза, и вел себя идеально, словно тоже преисполнился уважения к моему новому положению взрослого мужчины. Я был страшно доволен нами обоими. Мы резвым галопом подлетели к Каменному Дому Роддманта, и какая-то девчонка бросилась сообщать Грай о моем приезде. Я же в дом не спешил, неторопливо выгуливая Бранти по двору, чтобы конь немного остыл. Бранти и впрямь становился таким красавцем, что любому ездоку было впору им гордиться, а уж я и вовсе выступал по двору, точно павлин. Грай выбежала во двор и радостно бросилась к нам. Бранти, разумеется, тут же потянулся к ней, получил лакомство, посмотрел на нее с величайшим интересом, потом вдруг насторожил уши, шагнул к ней и прижался своим высоким лбом к ее лбу. Она приняла это торжественное приветствие как должное, ласково погладила коня по челке, легонько дунула ему в ноздри и заговорила с ним, издавая какие-то тихие невнятные звуки, которые называла речью животных. Мне она не сказала ни слова, но улыбка ее была радостной.

– Когда Бранти остынет, давай сходим к водопаду, – предложил я.

Мы отвели жеребца в стойло, дали ему сена и немного овса, а потом спустились в свою излюбленную лошину, где примерно в миле от мельницы, установленной на здешней речушке, к одному потоку присоединялся другой и оба рукава реки, слившись воедино, мчались дальше, образуя перекаты, и в одном месте падали с довольно высокого утеса шумливым водопадом в небольшое, но глубокое озерцо. От водопада постоянно тянуло холодным ветерком, заставлявшим кланяться кусты дикой азалии и черные ивы на берегу озера. В зарослях какая-то маленькая птаха без умолку пела свою простенькую песенку, а у нижнего края озерца издавна гнезвился дрозд. Там мы перебрались вброд на другой берег и стали купаться; мы ныряли под водопад, карабкались на скалы, плавали, брызгались, кричали и, наконец, взобрались на большую плоскую скалу, нагретую солнцем, и улеглись там, чтобы немного просохнуть. Среди весны вода в озере была просто ледяная, но мы, точно выдры, никогда не чувствовали холода.

Названия этого скалистого выступа мы не знали, но он уже много лет подряд служил нам любимым местом для обсуждения всяких важных дел.

Некоторое время мы просто лежали, тяжело дыша и впитывая солнечное тепло. Но в душе у меня накопилось столько всего, что мне просто необходимо было немедленно все выложить Грай.

– Вчера к нам брантор Огге заезжал, – начал я.

– Я его тоже однажды видела, – равнодушно откликнулась она, – когда мать брала меня в их края на охоту. У него такой вид, словно он бочонок проглотил.

– Огге обладает могущественным даром, – тупо повторил я слова отца. Я хотел, чтобы она признала величие Огге и потом должным образом оценила мое самопожертвование, – ведь я же отказался стать его зятем. Но в эти минуты я еще не успел рассказать ей об этом, а потом, когда для этого пришло время, вдруг оказалось, что сделать это ужасно трудно.

Мы лежали голова к голове, прижавшись животами к теплой гладкой скале, точно две тощие ящерицы. Так было очень удобно разговаривать совсем тихо, как любила Грай. Она не была скрытной и вопить порой могла громче дикой кошки, но разговаривать всегда предпочитала тихим голосом.

– Он пригласил нас в мае приехать в Драммант.

Грай промолчала.

– Он сказал, что хочет познакомить меня со своей внучкой. Она по материнской линии тоже из рода Каспро. – Я прямо-таки слышал в собственном голосе отголоски отцовских аргументов.

Грай что-то невнятно пробормотала и надолго умолкла. Глаза ее были закрыты. Спутанные мокрые волосы закрывали ту половину лица, которую я мог видеть, а другой щекой она прижималась к скале. Мне даже показалось, что она уснула.

– И ты поедешь? – шепотом спросила она наконец.

– Знакомиться с его внучкой? Конечно.

– И согласишься быть с ней помолвленным? – Глаз она по-прежнему не открывала.

– Нет, что ты! – воскликнул я возмущенно, но несколько неуверенно.

– Вот как?

Помолчав немного, я сказал: «Да, так!» – хотя и не так возмущенно, но ничуть не более уверенно.

– Мать меня тоже помолвить хочет, – сказала Грай. Она приподняла голову и теперь смотрела прямо перед собой, упершись подбородком в скалу.

– С Аннреном Барре из Кордеманта, – сказал я, очень довольный тем, что узнал об этом раньше нее. Но Грай мое сообщение совсем не понравилось. Она ненавидела, когда о ней говорили за глаза. Ей нравилось жить незаметно, как та птичка в зарослях черных ив. Она молчала, а я чувствовал себя полным дураком. Чтобы как-то замять допущенную неловкость, я пробормотал: – Мой отец говорил об этом с твоим отцом. – Но Грай по-прежнему молчала, и я решил: она ведь спросила меня, так почему же мне нельзя спросить ее? Но как же трудно оказалось это сделать! Но я заставил себя произнести тот же вопрос: – И ты поедешь?

– Не знаю, – процедила она сквозь зубы, все так же упираясь подбородком в камень и глядя перед собой.

Ну вот, пожалуйста! Я с такой готовностью ответил на ее вопрос! Еще бы, разве можно было променять Грай на какую-то внучку? Но Грай-то не выказывала никакого особого желания отказываться от помолвки с этим Аннреном Барре ради меня! И я, глубоко уязвленный, выпалил:

– А я всегда думал... – и осекся.

– Я тоже так всегда думала, – прошептала Грай. И прибавила еще тише, так, что слова ее почти заглушил шум водопада: – Я сказала матери, что не хочу никакой помолвки, пока мне не исполнится пятнадцать. Ни с кем. Отец согласился. А мать рассердилась.

Грай вдруг перевернулась на спину и легла, раскинув руки и глядя в небо. Я сделал то же самое. Руки наши почти касались друг друга на теплом камне, однако лежали неподвижно.

– Значит, пока тебе не исполнится пятнадцать, – эхом повторил я.

– Пока нам не исполнится пятнадцать, – сказала она довольно громко и решительно.

И больше мы за долгое время не сказали друг другу ни слова.

Я лежал над озером и чувствовал, как счастье пронизывает меня, подобно солнечным лучам, а под собой я чувствовал такую же мощную опору, как та скала подо мной.

– Призови птичку, – шепотом попросил я Грай.

Она просвистела три какие-то ноты, и из качающихся под скалой густых зарослей мгновенно прилетел нежный ответ. Через минуту птичка пропела снова, но Грай ей не ответила.

Она могла бы призвать птичку к себе, и та села бы ей на ладонь или на палец, но она этого не сделала. Когда в прошлом году ее дар стал входить в полную силу, мы часто пользовались им для разных игр. Например, Грай заставляла меня ждать на лесной поляне, но не говорила, что мне предстоит увидеть, и я ждал с напряженным вниманием охотника, пока внезапно, всегда поражая меня до глубины души, передо мной не появлялась, например, косуля с детенышами. Или я вдруг чувствовал запах лисы, начинал озираться и наконец замечал, что лиса сидит в траве, в двух шагах от меня, спокойная, как домашняя кошка, элегантно обвив хвостом лапки.

А один раз я почувствовал какой-то противный пугающий запах, от которого у меня по всему телу поползли мурашки, и увидел бурого медведя, который шел через поляну, ступая тяжело, но совершенно неслышно; в мою сторону он даже не посмотрел и вскоре исчез в лесу. Лишь через некоторое время после очередного представления Грай появлялась на поляне и, застенчиво улыбаясь, спрашивала: «Ну, тебе понравилось?» В случае с медведем я сказал, что медведь мне больше, пожалуй, показывать не стоит, а она ответила, что этот медведь не здешний; он живет в западных отрогах горы Эйрн, но из-за разлива реки спустился сюда на рыбную ловлю. Она могла призвать коршуна из поднебесья или заставить форель из озера под водопадом высоко подпрыгивать, точно танцуя. Она могла отвести рой пчел туда, куда это было нужно пчеловоду. А однажды, исключительно из вредности, она заставила целый рой слепней гнать одного противного пастуха по всему болоту под горой Красная Пирамида. Спрятавшись там, мы смотрели, как бедняга скачет и машет руками, точно ветряная мельница, пытаюсь спастись от преследовавших его проклятых насекомых, и давились смехом до слез.

Но тогда мы были еще детьми.

А теперь, когда мы лежали рядышком и смотрели в небо сквозь беспокойно трепещущую листву, чувствуя под собой теплую скалу, а над собой – горячее солнце, в мою душу, тесня ощущение мирного счастья, стала прокрадываться мысль о том, что я пришел сюда, чтобы поговорить с Грай не только о помолвках. Ведь ни я, ни она так ни словом и не обмолвились о том, что мой дар тоже наконец вошел в силу.

С того дня прошло уже недели две. Все это время мы с Грай не виделись – сперва потому, что я ездил с отцом и Аллоком чинить ограду, а потом нам пришлось сидеть дома и ждать, когда к нам соизволит заглянуть этот Огге. Если уж Огге, как оказалось, успел узнать, что я уничтожил ту гадюку, то и Грай наверняка слышала об этом. И все же она ничего мне не сказала. И я ничего не сказал ей.

Она ждет, чтобы я заговорил первым, думал я. А потом решил: она, наверное, хочет, чтобы я продемонстрировал ей свой дар. Показал его – как это делала она, легко и просто свистнув той птичке. Но я не мог вести себя столь же естественно. Стоило мне подумать о том, чтобы применить эту разрушительную силу, таившуюся во мне, и из меня, казалось, начинало уходить все живое тепло, а мирное настроение тут же улетучивалось. Нет, я не мог этого сделать! Я сердился, спрашивая себя: а почему, собственно, я должен кого-то убивать, что-то разрушать? Почему у меня именно такой дар? Да не стану я, не хочу, не буду!.. И тут какой-то внутренний голос говорил мне: ты должен всего лишь распустить узел в своей душе, освободить свои инстинкты. Пусть Грай, например, завяжет ленту в узел покрепче, а ты одним взглядом этот узел развяжешь. Любой, кто обладает таким даром, может легко это сделать. Аллок, например... Но какой-то другой голос сердито возразил: нет, я не буду, я не хочу ничего развязывать и уничтожать!

Я сел и уронил голову на руки.

Грай села рядом. Некоторое время она старательно сдирала болячку с почти поджившей царапины на своей загорелой ноге, потом вытянула ноги перед собой, любуясь ими и растопырив веером пальчики. Я был поглощен своими переживаниями – внезапным страхом и гневом, – но все же заметил, что она хочет мне что-то сказать, что она готовится к этому.

– Прошлый раз я вместе с матерью ездила в Кордемант, – начала она наконец.

– Значит, ты его видела?

– Кого?

– Этого Аннрена.

– Так я его и раньше не раз видела, – сказала она, точно отмахиваясь от этой темы, как совершенно несущественной. – Нет, мы ездили на большую охоту. Охотились на лосей. И охотники просили нас приманить стадо, которое медленно спускалось по берегу Ренни от подножия горы Эйрн. Все шестеро были вооружены луками, и мать хотела, чтобы с ними на охоту

отправилась именно я. А я лосей призывать не хотела. Но мать сказала, что я должна. Она сказала, что люди ни за что не поверят, что у меня вообще есть какой-то дар, если я им пользоваться не буду. А я сказала, что лучше буду за лошадьми на конюшне ухаживать. Но она заявила, что за лошадьми кто угодно может ухаживать, а охотники просят подманить для них лосей. «Ты не должна отказываться от использования своего дара, – сказала она, – если в нем у кого-то возникает необходимость». Так что на охоту я пошла. И призвала лосей. – Мне казалось, Грай, сидя на нашей высокой скале, снова видит, как эти лоси спокойно подходят к ней... Она тяжело вздохнула и сказала: – Они подошли... И пятерых охотники убили. Трех молодых самцов, одного старого и лосиху. Перед отъездом они дали нам с собой кучу мяса и еще много всего – целую флягу меда, гору пряжи и всякие ткани. А мне они подарили красивую шаль. Я тебе ее покажу. Мать была просто счастлива. А еще они подарили нам нож. Вот это действительно просто прелесть! Рукоять у него сделана из лосиного рога и оправлена в серебро. Отец говорит, что это старинный боевой кинжал. Собственно, его отцу в подарок и прислали. И Ханно Корде еще пошутил: «Ты нам даешь, когда нужно, а мы – когда тебе даже и не нужно совсем!» Но отцу все равно кинжал очень понравился. – Обхватив руками колени, Грай снова вздохнула, но уже не с таким несчастным видом, хотя чувствовалось, что ее по-прежнему что-то гнетет.

Не знаю, зачем она рассказала мне эту историю. В общем, особого повода и не требовалось: мы с ней всегда все рассказывали друг другу – все, что приходило в голову. Она точно не хвасталась; она вообще никогда не хвасталась. Я так и не понял, что именно та охота на лосей значила для нее. Была ли она горда своим успехом или же нет? Возможно, она и сама этого не понимала и рассказала именно для того, чтобы понять. Но я чувствовал: рассказывая об охоте, она как бы просила, чтобы и я рассказал ей о том, как впервые и столь победоносно применил свой дар. Но я не мог об этом рассказывать.

– А когда ты кого-то призываешь... – начал было я и умолк.

Она терпеливо ждала.

– На что это бывает похоже?

– Не знаю. – Она явно не поняла вопроса. Да я и сам едва понимал его.

– Когда ты впервые попробовала применить свой дар, – сказал я, возобновляя атаку, – ты поняла, что он действует? Ты чувствовала что-то особенное?

– Ах, вот ты о чем... Да, чувствовала. – И больше она не прибавила ни слова.

Я ждал. Она молчала довольно долго. Потом все же пояснила:

– Он просто действует. – Грай нахмурилась, пошевелила пальцами ноги и прибавила: – Но у нас ведь совсем иной дар, чем у тебя, Оррек. Ты должен использовать свой глаз и...

Она колебалась, и я перечислил как заповедь:

– Глаз, руку, слово, волю.

– Да. А когда призываешь, то просто нужно определить, где находится тот, кого следует позвать, и подумать о нем. Конечно, каждый раз бывает по-разному, но, в общем, ты словно протягиваешь кому-то руку или вслух окликаешь его, но почти никогда ни рукой, ни голосом мы не пользуемся.

– Но ты знаешь, когда твой дар действует?

– Да. Потому что знаю, где те, кого я призываю, и они отвечают мне. Или приходят... И между нами возникает связь – словно вот отсюда, – и Грай коснулась груди, – протягивается невидимая нить, струна. И она натянута очень туго. Стоит лишь тронуть ее – и она запоет, зазвучит... – Я слушал ее разинув рот и выглядел, должно быть, совсем глупо. Грай покачала головой. – Ох, об этом так трудно рассказывать!

– Но ты же знаешь, как применять твой дар?

– Ну конечно! Я ведь еще до того, как призову кого-нибудь, уже чувствую эту связь, эту струну. Только тогда она не так сильно натянута.

Я понурился. Я был в отчаянии. Я попытался хоть как-то рассказать Грай о той змее, но слова не шли с языка. И Грай спросила:

– А что ты чувствовал, когда ту гадюку убил?

Вот так, очень просто она освободила меня от мучительного молчания и поисков нужных слов.

Но я не мог принять эту свободу. Я все-таки стал рассказывать и вдруг разрыдался. Впрочем, плакать я тут же перестал – мне стало стыдно, и я был страшно зол на себя.

– Ничего особенного я не почувствовал, – честно признался я. – Это было просто... просто никак! Никаких усилий не потребовало. А сколько вокруг этого шума! Глупо!

Я встал, подошел к самому краю скалы и, присев на корточки и опершись руками о колени, нагнулся вперед и вытянул шею, чтобы увидеть озерцо под водопадом. Мне хотелось сделать что-нибудь безрассудное, смелое, совершить какую-нибудь бесшабашную глупость.

– Бежим на берег! – крикнул я, оборачиваясь к Грай. – Спорим, я обгоню тебя! – Грай тут же вскочила, ловкая и быстрая, как белка. Я выиграл, но сильно ободрал оба колена.

Я долго ехал на Бранти домой по залитым солнцем холмам, потом как следует выгулял коня, чтоб остыл, вытер его полотенцем, почистил щеткой, напоил, накормил и оставил в стойле презрительно фыркать на старушку Чалую. В дом я пошел с сознанием полностью выполненного долга, чувствуя себя настоящим мужчиной, хозяином. Отец ничего мне не сказал, и это тоже было нормально: так, как и должно быть; то, что я сделал, он воспринял как само собой разумеющееся. После ужина мать рассказала нам историю из «Чамбана», саги о жителях Бенгдрамана, которую знала наизусть почти целиком. В этой истории повествовалось о налете, который совершил герой Хамнеда на город злых духов; о том, как он потерпел поражение в бою с правителем этих духов, и о его бегстве в пустыню. Отец слушал не менее внимательно, чем я. Я хорошо помню тот вечер. Он показался мне последним... то ли в нашей счастливой семейной жизни, то ли в моем детстве. Я не знаю, что именно тогда закончилось, но на следующее утро, проснувшись, я оказался в совершенно ином мире.

– Пойдем-ка со мной, Оррек, – сказал мне отец уже ближе к полудню, и я решил, что он просто хочет со мною вместе прокатиться верхом, но он повел меня в сторону Рябиновой рощи. Когда наш дом скрылся из виду и мы оказались на заросшей травой полянке у Рябинового ручья, отец наконец остановился, а до того он не сказал мне ни единого слова.

– Покажи мне свой дар, Оррек, – попросил он так, что отказаться было невозможно.

Я уже говорил, что подчиняться отцу всегда доставляло мне удовольствие, хотя частенько удовольствие это было не из легких. Но это была давняя привычка, приобретенная еще в раннем детстве, и я всегда следовал ей. Мне просто никогда и в голову не приходило, что я могу не подчиниться отцу. Да я никогда этого и не хотел. Все его просьбы, даже самые трудновыполнимые и непонятные, всегда в итоге оказывались разумными и правильными. Я прекрасно понимал, чего он хочет от меня и почему он просит об этом. Но делать это я не желал.

Кремень и кресало могут годами лежать рядом совершенно спокойно, но ударь ими друг о друга – и посыплются искры. Мятеж, бунт, протест всегда возникают мгновенно, без предупреждения, точно искра, порождающая яркое пламя.

Я стоял к отцу лицом – я всегда так стоял, когда он обращался ко мне, – и молчал.

Он указал мне на заросли кипрея и еще какой-то травы и предложил – не приказал, а именно предложил бодрым тоном:

– Попробуй-ка распутать эти травы.

Я застыл как вкопанный. Лишь взглянув на этот кипрей, я больше ни разу в ту сторону даже не посмотрел.

Некоторое время отец выжидал. Потом вздохнул, и что-то неуловимо изменилось во всем его облике; я чувствовал, какое от него исходит напряжение, хотя он молчал. Потом он вдруг очень тихо спросил:

– Так ты выполнишь мою просьбу?

– Нет, – ответил я.

Снова повисло тягостное молчание. Я слышал слабое журчание ручья, пение птиц в роще, мычание коров на ближнем пастбище.

– Ты можешь это сделать?

– Я не стану этого делать.

Снова помолчав, он сказал:

– Тут нечего бояться, Оррек. – Голос его звучал ласково.

Я закусил губу, сжал кулаки и ответил:

– Я не боюсь.

– Чтобы уметь управлять своим даром, ты прежде всего должен им пользоваться. – Канок говорил по-прежнему мягко, ласково, и это ослабляло мою решимость.

– Я не буду им пользоваться.

– Но тогда он может воспользоваться тобой.

Это было неожиданно. Вот и Грай что-то такое говорила мне о своем даре и о том, как он использует ее. Но сейчас я не мог вспомнить ее слов. Я был смущен, но признавать этого не желал.

И упрямо покачал головой.

Отец нахмурился; он гордо вскинул голову, словно перед ним стоял враг, а не родной сын, и всякая ласка из его голоса тут же исчезла.

– Ты должен продемонстрировать мне свой дар, Оррек, – отчеканил он. – Если не хочешь мне, то покажи его другим. Тут выбор за тобой. Обладать определенным могуществом означает также служить этому могуществу. Пройдет время, и ты станешь брантором Каспроманта. Здешние жители будут зависеть от тебя, как сейчас – от меня. Ты должен доказать им, что они могут на тебя рассчитывать. И должен научиться использовать свой дар – но для этого тоже нужна тренировка.

Я снова покачал головой.

После очередной невыносимо мучительной паузы он спросил почти шепотом:

– Тебя тревожит то, что это своего рода убийство?

Я не был уверен, что дело именно в этом, в этой моей способности убивать, что я из-за этого и взбунтовался. Я, конечно, думал об этом, но не слишком отчетливо, хотя каждый раз меня охватывал тошнотворный ужас, стоило мне вспомнить ту крысу или ту гадюку... Но сейчас я одно знал твердо: я не желал, чтобы меня испытывали, не желал пробовать в действии ту ужасную силу, что, возможно, живет во мне, и не желал, чтобы эта сила завладела всем моим существом. Но в словах Канока была лазейка, которой я и воспользовался. И кивнул.

А Канок тяжело вздохнул – это было единственным проявлением разочарования или нетерпения с его стороны – и отвернулся. Потом пошарил в кармане куртки и выудил оттуда кусок бечевки. Он всегда носил с собой всякие такие вещи – в хозяйстве все могло пригодиться. Завязав веревку узлом, он бросил ее на землю между нами и молча посмотрел сперва на нее, потом на меня.

– Я тебе не собачка, чтобы всякие фокусы показывать! – огрызнулся я, и тут же воцарилась ужасная звенящая тишина.

– Послушай, Оррек, – сказал отец, выдержав паузу. – В Драмманте ты обязан будешь непременно показать свой дар. Мы за этим туда и едем, если уж говорить начистоту. Если ты этого не сделаешь, что подумает о тебе Огге Драм? Это ты себе представляешь? Если ты откажешься использовать свою силу, нашим людям не к кому будет обратиться за защитой. – Он

тяжко вздохнул и дрожащим от сдерживаемого гнева голосом прибавил: – Неужели ты думаешь, что мне нравится убивать крыс? Я ведь не терьер какой-то. – Он отвернулся, помолчал, потом продолжил: – Подумай о своем долге, Оррек. О нашем долге. Подумай об этом как следует. И когда поймешь, в чем заключается твой долг, приходи ко мне.

Затем Канок наклонился, подобрал с земли веревку, развязал на ней узел, снова сунул ее в карман и стал быстро подниматься по склону холма к Рябиновой роще.

И теперь я каждый раз вспоминаю, как бережно он тогда подобрал ту жалкую веревку; веревки у нас были редкостью, и разбрасываться ими было нельзя. И снова слезы выступают у меня на глазах, но не слезы стыда и ярости, как в тот день, когда я, рыдая, брел вдоль ручья и ничего не видел перед собой.

Глава 8

После того случая отношения у нас с отцом сильно изменились – теперь между нами стояли его требование и мой отказ. Однако внешне это почти никак не проявлялось. Несколько дней отец этой темы вообще не касался и уж больше ничего, разумеется, мне не приказывал, лишь как бы между прочим спросил однажды, когда мы возвращались домой после объезда наших восточных пастбищ:

– Ну что, не хочешь ли сейчас испытать свой дар?

Но моя решимость за это время еще больше возросла; я был защищен этой решимостью, точно стеной; я прятался в ней, как в сторожевой башне замка, и от требований и вопросов отца, и от своих собственных тревог и сомнений. Так что ответил я моментально:

– Нет.

Моя непоколебимость, должно быть, поразила его. Он ничего больше не сказал. Он вообще все время молчал, пока мы ехали домой. И до конца дня тоже со мной не разговаривал. И вид у него был усталый и суровый. Мать, конечно, заметила это, а возможно, догадывалась и о причине.

На следующее утро она попросила меня подняться к ней в башню, сказав, что шьет мне новую куртку и ее надо померить. Я долго стоял перед нею с вытянутыми в стороны руками, точно огородное пугало, а она ползала вокруг меня на коленях, что-то наметывала, отмечала, где нужно сделать прорезные петли, и только потом сказала, не разжимая губ, поскольку во рту у нее были булавки:

– Твой отец беспокоится.

Я нахмурился и ничего не ответил.

Она вынула булавки изо рта и, не вставая с колен, села на пятки. И посмотрела на меня.

– Он говорит, что не понимает, почему брантор Огге так вел себя: сам напросился в гости, нас к себе пригласил, да еще и всякие намеки отпуская насчет помолвки. Канок говорит, что между родами Драм и Каспро никогда не было дружеских отношений. Но я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Я так ему и сказала. А он только головой покачал. Все это очень его тревожит.

Я ожидал от нее совсем иных слов. И был очень удивлен и даже несколько отвлекся от собственных мыслей. Я, правда, не знал, что ей сказать, и, стараясь найти какие-то ободряющие и не слишком глупые слова, предположил:

– А может, это потому, что теперь у нас с ними общая граница? – Лучше я ничего придумать не сумел.

– По-моему, как раз это отца и беспокоит, – сказала Меле. Снова сунув булавки в рот, она принялась подкалывать полу куртки. Это была настоящая мужская куртка из черного фетра, моя первая «взрослая» куртка.

– В общем, – сказала она, вынимая изо рта булавки и снова откидываясь на пятки, чтобы оценить проделанную работу, – я буду очень рада, когда этот визит к Драмам окажется позади!

Я чувствовал, что моя вина так велика, что прямо-таки придавливает меня к полу, словно новая черная куртка сделана из свинца.

– Мам, – сказал я, – отец хочет, чтобы я упражнялся в применении своего дара, а я не хочу, и это его сердит.

– Я знаю, – сказала она, осматривая меня со всех сторон. Потом вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в лицо, продолжая сидеть передо мной на полу. – Но в этих делах я не могу помочь ни тебе, ни ему. Ты и сам это знаешь, Оррек, правда? Я не понимаю, что такое эти ваши дары. И в ваши отношения с отцом вступать не хочу. Мне очень тяжело видеть вас обоих такими несчастными, но я могу сказать только одно: это ради тебя, ради всех нас он

просит тебя научиться применять твой дар. Он бы не стал просить, если бы в этом было что-то дурное, постыдное. И ты это прекрасно понимаешь.

Меле, разумеется, вынуждена была принять сторону отца. Это было правильно и справедливо, и в то же время я чувствовал, что это немного нечестно по отношению ко мне: почему вся сила должна непременно быть на его стороне? Почему ему принадлежат все права, все его доводы считаются правильными и даже Меле всегда на его стороне? Почему они всегда оставляют меня в одиночестве, глупого, упрямого мальчишку, не способного ни использовать свой дар, ни предъявить свои права, ни привести сколько-нибудь весомые аргументы. Понимая всю чудовищную несправедливость подобного положения, я не стал даже пытаться что-то объяснять матери. И гордо промолчал, погрузившись в свой яростный стыд, спрятавшись за каменными стенами своего упрямого сопротивления.

– Ты не хочешь пользоваться своим даром, потому что тебе неприятно причинять вред живым существам, да, Оррек? – спросила меня мать чуть ли не застенчиво. Даже со мной она стеснялась говорить о таких вещах, как мой «великий дар», потому что слишком мало о нем знала.

Но отвечать на ее вопрос мне не хотелось. Я стоял как истукан – не кивнул, не пожал плечами, не сказал ни слова, – и, озабоченно заглянув мне в лицо, она еще раз осмотрела свою работу, быстро что-то исправила, что-то подколола и ловко сняла с моих плеч наполовину законченную куртку. Потом легонько прижала меня к себе, поцеловала в щеку и подтолкнула к двери.

Дважды после этого Канок спрашивал меня, не хочу ли я испытать свой дар. Дважды я отмалчивался. И на третий раз он не спросил, а потребовал:

– Оррек, ты должен мне подчиниться!

Я по-прежнему молчал. Мы стояли с ним недалеко от дома, но вокруг никого не было. Отец, надо сказать, никогда не унижал и не стыдил меня в присутствии других людей.

– Скажи, чего ты боишься?

Я молчал.

Он наклонился ко мне; его лицо было совсем близко, и в глазах его я увидел такую боль и смятение, что меня будто ударили кнутом.

– Ты боишься своей силы или того, что у тебя этой силы нет?

У меня перехватило дыхание, и я выкрикнул:

– Я ничего не боюсь!

– В таком случае воспользуйся своим даром! Немедленно! Разрушь хоть что-нибудь! – Он взмахнул правой рукой. Левая его рука, сжатая в кулак, была плотно притиснута к боку.

– Нет! – сказал я, весь дрожа и прижимая руки к груди; глаз я поднять не смел – мне было не вынести взгляда его сверкающих глаз.

И так, не поднимая головы, я услышал, что он повернулся и пошел прочь. Его шаги прощуршали по тропинке, затем по двору. Но я не посмотрел ему вслед. Я смотрел на юный побег, только что начавший выпускать листочки под апрельским солнцем, и представлял его себе черным, мертвым, скрюченным, но руку не поднимал, и голосом не пользовался, и волю в кулак не собирал. Я просто смотрел на этот побег и видел, какой он зеленый, живой, веселый и как ему безразличны мои переживания.

После того дня отец больше не просил меня применить мой дар. Все шло как обычно. Он почти не говорил со мной. Впрочем, он и прежде нечасто со мной разговаривал. Он больше не улыбался мне, не смеялся, и я не смел посмотреть ему в глаза.

К Грай я ездил, когда только мог. Я брал Чалую. Я ни за что не стал бы спрашивать у отца, можно ли мне взять Бранти. У них в Роддманте гончая принесла сразу четырнадцать щенков; щенята давно уже перестали сосать мать, но были все еще очень забавные, смешные,

и мы с удовольствием подолгу играли с ними. Я особенно любил возиться с одним из них, и однажды Тернок, остановившись поодаль и наблюдая за нами, предложил:

– Да возьми ты этого щенка себе! У нас тут и так собак хватает, а Канок говорил, что хотел бы иметь еще парочку гончих. Пес, я думаю, будет неплохой. – Мой щенок был самый хорошенький в помете, с черными и рыжими пятнами. И я пришел в полный восторг.

– Возьми лучше Бигги, – посоветовала мне Грай. – Он куда умнее.

– Но мне этот больше нравится! И он всегда такой ласковый, лизучий. – Щенок, точно в подтверждение моих слов, тут же «умыл» меня своим язычком.

– Ну да, настоящий лизун, Кисси, – сказала Грай без всякого энтузиазма.

– Никакой он не лизун! Его будут звать... – Я порылся в памяти в поисках какого-нибудь героического имени и воскликнул: – Хамнеда!

На лице у Грай было написано отчетливое сомнение и некоторая неловкость, но спорить она не стала, и я отвез длинноногого черно-рыжего щеночка домой в корзинке, привязанной к седлу. Какое-то время я наслаждался, играя с ним, но мне, разумеется, следовало послушаться Грай, которая знала своих собак, как никто другой. Хамнеда оказался безнадежно робким и чересчур впечатлительным. Он не только без конца оставлял на полу лужи, как, впрочем, и всякий щенок, но и гадил повсюду, так что вскоре мне запретили пускать его в дом. Он все время куда-то влезал, ушибался, попадал под копыта лошадям, а когда подрос, первым делом удавил нашу кошку, лучше всех ловившую мышей, и одного за другим передушил ее котят. Он покусал садовника и маленького сынишку повара, он выводил всех из себя совершенно бессмысленным пронзительным визгом и лаем и мог так орать сутки напролет, а если его где-нибудь запереть от греха подальше, становилось еще хуже. Учиться он ничему не хотел, делать ничего не умел и через полмесяца до смерти осточертел мне. Я бы с удовольствием от него избавился, но мне стыдно было признаться в этом даже себе самому; кроме того, я чувствовал себя предателем по отношению к этому безмозглому щенку, который был совсем не виноват, что таким уродился.

Отец, Аллок и я собирались как-то утром поехать на верхние пастбища и проверить, как идет весенний окот овец. Как всегда, отец ехал верхом на Грейлаге, но на этот раз Аллоку он велел взять Чалую, а мне – рыжего Бранти. Мне это отчего-то показалось привилегией весьма сомнительной. Да и Бранти был в дурном настроении. Он мотал башкой, надувал брюхо, лягался, пытался меня укусить, то и дело шарахался и вставал на дыбы – в общем, всячески старался сбить меня с толку, заставить врасплох. И как только мне показалось, что я наконец с ним справился, откуда ни возьмись выскочил Хамнеда и сразу принялся с лаем скакать вокруг; оборванный поводок болтался у него на шее. Я прикрикнул на глупого пса, но было уже поздно: Бранти так взвился, что я вылетел из седла, но умудрился не упасть и даже снова вскочил в седло, удержав испуганного жеребчика. Но ценой какого страшного напряжения мне это далось! Когда Бранти наконец успокоился, я поискал глазами собаку и заметил в дальнем углу двора кучку черно-рыжей шерсти.

– Что случилось? – спросил я.

Отец, уже сидевший на коне, удивленно посмотрел на меня:

– А ты что, не понял?

Я решил, что Хамнеду нечаянно раздавил Бранти, но крови видно не было. Песик лежал бесформенной лепешкой, точно полностью лишенный костей, и одна его длинная черно-рыжая лапа вытянулась, странно перекрученная и похожая на веревку. Я мигом слетел с коня, но подойти ближе к тому, что лежало в углу двора, так и не смог.

Я поднял глаза на отца и гневно выкрикнул:

– Неужели тебе обязательно было убивать его?

– Мне? – удивился Канок, и тон у него был такой, что у меня все похолодело внутри.

– Ох, Оррек, это ведь ты сделал! – сказал Аллок, подъезжая ко мне на Чалой. – Точно. Ты взмахнул левой рукой, когда пытался отогнать от коня эту глупую собаку!

– Нет, я не мог это сделать! – воскликнул я. – Я не... не убивал его!

– А ты в этом уверен? – спросил Канок, и мне показалось, что он усмехнулся.

– Ты убил его точно так, как и ту гадюку. В точности так! – сказал Аллок. – Ну и быстрый у тебя глаз! – Но голос его звучал как-то неуверенно, и в нем слышалась грусть. Люди уже сходились к нам во двор, услышав, что у нас произошло; и все стояли, смотрели... Лошади нервно переступали с ноги на ногу, не желая приближаться к мертвой собаке. Бранти, которого я крепко держал под уздцы, был весь в мыле и сильно дрожал; примерно то же самое творилось и со мной. Внезапно к горлу у меня подступила тошнота, я резко отвернулся, и меня вырвало, но повод из рук я не выпустил. Придя в себя, я вытер рот, перевел дыхание, подвел Бранти к сажальному камню у коновязи и снова вскочил в седло. Губы отказывались мне повиноваться, но я все же сказал:

– Ну что, мы едем?

И мы поехали на верхние пастбища. И всю дорогу молчали.

В тот вечер я спросил, где похоронили собачку. Оказалось, за мусорной кучей. Я пошел туда и долго стоял там. Особенно грустить из-за бедного Хамнеды, в общем, не стоило, но в душе моей тем не менее царила печаль. Когда я возвращался назад, уже сгустились сумерки. Недалеко от крыльца мне навстречу попался отец.

– Мне жаль, что так получилось с твоей собакой, Оррек, – тихо и без улыбки сказал он. Я молча кивнул.

– Скажи мне вот что: ты захотел убить его?

– Нет, – ответил я, не испытывая, впрочем, полной уверенности, – все теперь для меня стало каким-то неясным, зыбким, неопределенным. Я действительно порой ненавидел Хамнеду из-за его идиотической глупости, особенно когда он пугал молоденького жеребца, но убивать его я совсем не хотел. Это я знал наверняка.

– И все-таки желание убить его у тебя возникало.

– Невольно!

– И что, ты не понимал, что используешь свой дар?

– Нет!

Отец молча шагал к дому рядом со мной. Весенние сумерки дышали прохладой и сладостными ароматами. Вечерняя звезда вспыхнула на западе рядом с нарождающейся луной.

– Неужели я такой же, как Каддард? – шепотом спросил я.

Канок ответил не сразу.

– Ты должен научиться управлять своим даром, – в который уже раз повторил он.

– Но я не могу! Ничего не происходит, когда я сознательно пытаюсь им воспользоваться! Я много раз пытался... А когда я даже никаких попыток не предпринимаю... когда... как с той гадюкой... или как сегодня... Но все равно – это происходит так, словно сам я ничего не делаю... не совершаю никаких усилий... Это просто происходит, и все!

Слова так и сыпались из меня, падали, точно рухнувшие стены той башни, в которой я так долго скрывался.

Канок ни слова не сказал мне в ответ, только вздохнул и легко обнял меня за плечи. Уже поднявшись на крыльцо, он сказал:

– Вот это и называют «дикий дар».

– Дикий?

– «Диким даром» невозможно управлять с помощью воли.

– Он опасен?

Канок молча кивнул.

– И что же... теперь делать?

– Имей терпение, – сказал он, и я снова на мгновение почувствовал на плече его руку. – И наберись мужества. Мы что-нибудь придумаем.

У меня точно гора с плеч свалилась, когда я понял, что отец больше на меня не сердится и можно наконец прекратить свое внутреннее сопротивление. Но то, что он сказал, было достаточно пугающим, и в ту ночь я почти не спал. Когда утром отец позвал меня с собой, я с радостью отправился с ним. Я готов был сделать что угодно, лишь бы разрешить эту проблему.

В то утро Канок был особенно молчалив и мрачен, и я, разумеется, решил, что это из-за меня. Но по дороге к Рябиновому ручью он сказал:

– Дорек сегодня утром приходил. Говорит, две белые телки пропали.

Белые телки являли собой жалкие остатки старинной породы белого скота, выведенного когда-то в Роддманте. У нас их было всего три – это были чудесные животные, и за них Канок не пожалел отдать большой кусок отличного леса на границе с Роддмантом. Он очень надеялся когда-нибудь восстановить в Каспромманте поголовье белых коров и этих трех телок весь последний месяц держал на лучшем пастбище с особенно сочной травой близ южной границы поместья. Кстати, там рядом паслись и наши овцы. Одна немолодая женщина из числа серфов и ее сын, которые жили неподалеку от этого пастбища, присматривали и за белыми телочками, и за пятью-шестью собственными молочными коровами.

– Неужели телки дыру в изгороди нашли? – спросил я.

Отец покачал головой.

Белые телки были самой большой нашей драгоценностью, если не считать Грейлага, Чалой и Бранти, ну и, конечно, самой земли. Утрата двух животных стала жестоким ударом для грандиозных планов Канока.

– Мы поедem их искать?

Он кивнул:

– Обязательно. Сегодня же.

– Они могли забраться в горы...

– Только не сами по себе, – возразил он.

– Так ты думаешь... – Продолжать я не стал. Если телок украли, то вором мог оказаться кто угодно. Правда, наиболее вероятно, что это либо сам Отге Драм, либо его люди, но высказывать вслух свои предположения насчет кражи скота было очень опасно. Немало смертоубийственных междоусобиц начиналось из-за невзначай оброненного обидного слова, даже не обвинения. И хотя сейчас мы с отцом были одни, привычка держать при себе все соображения, касавшиеся этой темы, была слишком сильна. И мы больше об этом говорить не стали.

Мы остановились на том же самом месте, где и в прошлый раз, когда я отказался выполнить приказание отца.

– Ну что ж... – сказал Канок и умолк, бросив на меня почти умоляющий взгляд. Я молча кивнул и огляделся.

Каменистый склон холма был довольно пологим и порос густой высокой травой, отчего далекие, более высокие и крутые холмы почти полностью скрывались из глаз. Небольшая рябинка умудрилась уцепиться корнями за каменистую землю возле тропинки и боролась в одиночку и с засухой, и с ветрами, кривоватая, низкорослая, но все же храбро выбросившая на концах веток кисти будущих цветов. Я старался не смотреть на рябинку, но дальше виднелся муравейник. Было раннее утро, крупные красно-черные муравьи так и сновали у входа на вершине муравейника, строились в колонны и спешили по своим делам. Муравейник был большой, больше фута в высоту. Я не раз видел разрушенные муравейники и хорошо представлял себе, как много там сложных туннелей и переходов, как удивительна эта невидимая глазу архитектура. И, не давая себе времени подумать об этом, я протянул вперед левую руку, пристально посмотрел на муравейник, и дыхание обожгло мои губы, когда я резко выдохнул

и произнес какой-то странный звук, сосредоточив в нем всю свою силу, все свое желание разрушить, уничтожить, стереть с лица земли...

И увидел все ту же зеленую траву под лучами солнца, крошечную рябинку, коричневый муравейник, рыже-черных муравьев, снующих туда-сюда у его узкого входа и неровными колоннами уходящих по траве через тропинку.

Отец стоял у меня за спиной. Я не обернулся. Я слышал его молчание. И это молчание было нестерпимым.

Охваченный отчаянием, я крепко зажмурился, мечтая никогда больше не видеть этих муравьев, эту траву, эту тропинку, этот солнечный свет...

Потом открыл глаза и с изумлением увидел, что трава съежилась и почернела, муравьи превратились в обугленные комочки, а муравейник полностью разрушен и превратился в безжизненную яму. И тропа передо мной, казалось, извивалась и кипела; она была похожа на разверстую рану, вспоровшую склон холма с каким-то странным треском и шелестом. И тут я заметил нечто, стоявшее прямо передо мной, изогнутое и почерневшее. Моя левая рука, все еще простертая вперед, вздрогнула и застыла. Я стиснул пальцы в кулак, потом обеими руками закрыл лицо и закричал:

– Остановите это! Остановите!

И тут же почувствовал на плечах руки отца. Он прижал меня к себе.

– Ну-ну, – сказал он, – успокойся. Дело сделано, Оррек. И сделал это ты. – Я чувствовал: он тоже дрожит и слегка задыхается.

Когда я отнял руки от лица, то сразу же отвернулся – я был в ужасе от увиденного. Склон перед нами выглядел так, словно по нему прошел огненный ураган, это была уничтоженная, изуродованная, мертвая земля. Лишь кое-где можно было разглядеть некрупные камни. А та рябинка превратилась в изуродованный черный пенек.

Я повернулся к отцу и спрятал лицо у него на груди.

– Я думал, это ты! Я думал, это ты! Ведь это ты стоял там!.. Ты... – задыхаясь, выкрикивал я.

– Где я стоял, сынок? – Канок говорил со мной очень нежно, прижимая меня к себе, как перепуганного жеребенка.

– Я же мог убить тебя!.. Но я не хотел, не хотел! Я не делал этого! То есть сделал, но не желая того! Как же мне теперь быть?

– Послушай, Оррек... Нет, ты послушай меня! Не бойся. Я больше не стану просить тебя...

– И все равно! Я же не в силах управлять этим! Я ничего не могу сделать, когда хочу, а когда не хочу, это делается само! Я теперь боюсь смотреть на тебя! Я на все теперь боюсь смотреть! Что, если я... если я... – Но продолжать я не мог и рухнул на землю, парализованный ужасом и отчаянием.

Канок сел рядом со мной на тропу и дал мне время прийти в себя.

Наконец я сел. И сказал:

– Я такой же, как Каддард.

Это звучало и как утверждение, и как вопрос.

– Возможно... – откликнулся отец, – возможно, ты похож на Каддарда в детстве, но не на того Каддарда, который убил свою жену. Ведь тогда он уже утратил свой разум. А в юности безумным был только его дар. Он не умел управлять своим «диким даром».

И я сказал:

– Ну да, и ему завязали глаза, пока он не научился им управлять. Ты тоже мог бы завязать мне глаза.

Еще лишь произнося эти слова, я чувствовал, что это сущее безумие, и жалел, что сказал это. Но потом я снова поднял голову, посмотрел на склон холма, на широкую полосу мерт-

вой травы и изуродованных кустов, на рассыпавшиеся в пыль камни, на бесформенные руины муравейника – на все живое, что теперь было мертво, ибо хрупкие, хитроумные, сложные связи внутри этих вещей были мною разрушены. Та мужественная рябинка превратилась в уродливое привидение. И это зло сотворил я, даже не сознавая, что творю. Я ведь не желал таких разрушений. И все же в гневе я...

Я снова закрыл глаза и сказал отцу:

– Так будет лучше для всех.

Возможно, в душе моей все же таилась надежда, что Канок предложит мне какой-то иной, лучший план действий. Но он долго молчал, а потом тихим голосом, словно стыдясь собственных слов, промолвил:

– Хорошо. Может быть, действительно стоит. Ненадолго...

Глава 9

Но ни один из нас не оказался готов сделать то, о чем мы говорили. Не хотелось даже думать об этом. К тому же предстояло еще искать телок, заблудившихся или украденных. И я, конечно же, хотел поехать с отцом на поиски, и он тоже хотел, чтобы я поехал с ним. Так что мы вернулись в Каменный Дом, сели на коней и вместе с Аллоком и еще двумя парнями отправились в путь, никому не сказав ни слова о том, что произошло на берегу Рябинового ручья.

И весь тот долгий день я видел перед собой зеленые долины, нежные ивы вдоль ручьев, цветущий вереск, раkitник, покрытый желтыми пушистыми цветами, синеву небес и коричневые склоны гор. Я искал взглядом пропавших животных и боялся смотреть, боялся надолго останавливать на чем-то свой взгляд, боялся снова увидеть, как чернеет трава и корчатся в невидимом пламени деревья. И я опускал глаза, смотрел в землю, до боли сжимая пальцы левой руки, прижимая ее к себе; иногда я даже зажмуривался, пытаясь ни о чем не думать и ничего не видеть.

Поиски изрядно утомили нас, но не принесли никаких результатов. Старуха, которой было поручено охранять белых телок, была настолько напугана гневом Канок, что ничего вразумительного сказать не могла. Тем более что ее сын, которому велено было не спускать с телок глаз, пока они находятся на столь отдаленном пастбище, да еще вблизи границ с Драммантом, ушел в горы охотиться на зайцев, оставив мать присматривать за стадом. Никаких проломов в изгороди мы не обнаружили, во всяком случае таких, сквозь которые могла бы пройти корова. Изгородь была, конечно, старая, поверху утыканная кольями, которые вору ничего не стоило выдернуть, а потом снова воткнуть, заматавая следы. С другой стороны, молодые и любопытные телки могли просто забрести в одну из узких горных лощин и мирно пастись там, никому из нас не видимые. Но в таком случае почему же все-таки одна-то осталась? Коровы ведь всегда тянутся друг за дружкой. Единственная оставшаяся телочка теперь была заперта в коровнике – увы, слишком поздно! – и печально мычала время от времени, призывая своих подружек.

Аллок, его двоюродный брат Дорек и незадачливый пастух, сын той старухи, решили как следует осмотреть верхние склоны, а мы с отцом поехали домой, выбрав кружной путь вдоль всей нашей границы с Драммантом, и тоже все время высматривали наших белых коров. И я, с высоты седла оглядывая окрестности, все время думал: а каково мне будет не иметь возможности видеть все это, когда передо мной будет одна чернота? И какой от меня тогда будет прок? Вместо помощника я стану для отца обузой. Думать об этом было тяжело. И я стал думать о том, чего еще не смогу делать, когда мне завяжут глаза, и обо всех тех вещах, которые больше я не смогу видеть. Я стал вспоминать каждую из них в отдельности – наш холм, знакомое дерево, округлую серую вершину горы Эйрн, облако над ее вершиной, неяркий желтый огонек, светящийся в густых сумерках в окне Каменного Дома, уши Чалой, мелькавшие у меня перед носом, темные горящие глаза Бранти под рыжей челкой, лицо моей матери, маленький опал в серебряной оправе, который она носит на шее... Я вспоминал каждую из этих вещей, и каждый раз с острой пронзительной болью, потому что такие мелкие уколы, даже бесконечное их множество, все же легче перенести, чем одну-единственную, но такую огромную боль, возникавшую от осознания того, что я вскоре не должен буду ничего видеть, ни одной из этих вещей, что я должен буду добровольно ослепнуть.

Мы оба совершенно вымотались, и я подумал, что, может быть, мы так и разойдемся, ничего не сказав друг другу, хотя бы еще на одну ночь, что Канок отложит все до утра (а как это будет, когда утром я не смогу снова увидеть рассвет над горами?). Но после ужина, который мы съели в усталом молчании, отец сказал матери, что нам нужно поговорить, и мы поднялись в ее комнату в башне, где в камине горел огонь. День отстоял ясный, но холодный, ветренный, как

бывает в конце апреля, и ночь наступала тоже холодная. Я с наслаждением подсел к камину, ощущая лицом и коленями благодатное тепло и думая о том, что такие вещи буду чувствовать и потом, когда не смогу видеть.

Отец с матерью говорили о пропавших телках. А я смотрел в огонь, который вспыхивал и потрескивал, и тот смешанный с усталостью покой, что на несколько минут целиком завладел мною, куда-то ускользнул. Понемногу в сердце моем все сильнее разгорался гнев на несправедливость того, что выпало на мою долю. Я у судьбы этого не просил! И не собирался с этим мириться! Я не желал, чтобы меня ослепляли только потому, что мой отец боится меня! Огонь охватил сухую ветку, и она вспыхнула, потрескивая и рассыпая искры, и я затаив дыхание осторожно повернулся к родителям.

Канок сидел в деревянном кресле, а Меле – рядом с ним, на своей любимой низенькой скамеечке со скрещенными ножками. Их лица в отблесках огня казались исполненными неизъяснимой нежности и тайны. И только тут я заметил, что моя левая рука поднята и, немного дрожа, указывает на отца. Я видел, как она дрожит, и вспомнил ту рябинку на склоне холма над ручьем – скорчившуюся, обугленную – и, прижав обе руки к глазам, сильно надавил на них, чтобы стало больно, чтобы ничего не видеть, кроме странных цветных вспышек, которые всегда мелькают перед глазами, когда на них сильно надавишь.

– В чем дело, Оррек? – услышал я голос матери.

– Скажи ей, отец!

Он явно колебался. Потом все же с трудом, запинаясь, стал рассказывать, но рассказывал не по порядку и как-то невнятно, и я уже начинал терять терпение от его неловких выражений.

– Сперва расскажи, что случилось с Хамнедой, а потом – у Рябинового ручья! – потребовал я, прижимая кулаки к глазам. Я все сильнее давил на глаза, ибо в душе моей опять бушевал неистовый гнев. Почему он не может просто сказать все как есть? Он все перепутал! Ходит кругами и никак не может подойти к сути дела! Не может сказать прямо, к чему все это ведет. Моя мать, пытаясь понять причину его столь сильного смущения и отчаяния, пролепетала:

– Но значит, это «дикий дар»? – И я, увидев, что Канок опять колеблется, вмешался:

– Этот дар означает, что я обладаю страшной разрушительной силой, но не способен сам управлять ею. Я не могу воспользоваться своим даром, когда хочу этого; и получается, что пользуюсь им, когда совсем этого не хочу. Вот сейчас, например, я мог бы убить вас обоих, если б только посмотрел на вас.

Воцарилось молчание. Потом Меле, не желая мириться со столь страшной действительностью, начала было возмущенно:

– Но ты, конечно же, преувели...

– Нет, – оборвал ее Канок. – Оррек говорит правду.

– Но ты же занимался с ним, столько лет учил его! Ты ведь стал тренировать его, когда он был еще совсем ребенком!

Ее искренний протест лишь обострил боль и гнев, бушевавшие в моей душе.

– Это ничего не дало, – усмехнулся я. – Я как тот бедный пес, Хамнеда. Он так и не смог ничему научиться. Он был бесполезен и стал опасен. Так что самое лучшее было убить его.

– Оррек!

– Дело в самой этой силе, – вмешался отец. – Не в Орреке, а в его силе... в его даре. Он не может правильно пользоваться своим даром, зато этот дар может его использовать. Это очень опасно. Он все правильно сказал. Это опасно и для него, и для нас, и для всех на свете. Со временем Оррек, конечно, научится управлять своим даром. Это великий дар, а он просто еще слишком молод. Но пока... пока его придется этого дара лишиться.

– Как? – Голос матери так зазвенел, что, казалось, вот-вот брызнут осколки.

– Придется завязать ему глаза.

– Завязать глаза?

– Глаз, закрытый повязкой, не имеет силы.

– Но повязка на глазах... Ты хочешь сказать, что когда Оррек будет выходить из дома... когда он будет среди других людей...

– Нет, не только, – сказал Канок, и я подхватил:

– Нет, все время. Пока я не буду твердо уверен, что никому не смогу причинить вреда, никого не убью, даже невольно. Чтобы никто, ни одна вещь или живое существо не валялись на земле бесформенной грудой! Я ни за что не сделаю этого снова! Никогда! Никогда! – Я сел у камина, прижимая руки к глазам, и весь сгорбился, чувствуя себя больным, бесконечно усталым и совершенно беспомощным в этой темноте. – Запечатай мне глаза прямо сейчас, отец, – сказал я. – Да, сделай это сейчас.

Я не помню, продолжала ли Меле протестовать, а Канок – настаивать на своем. Помню только, что душу мою терзала страшная боль. И облегчение наступило только тогда, когда я наконец ощутил на глазах повязку и отец завязал у меня на затылке ее концы. Повязка была черной, я еще успел ее увидеть, и это было последнее, что я видел: огонь в очаге и полоску черной ткани в руках отца.

А потом провалился во тьму.

И вскоре почувствовал тепло невидимого огня, в точности как и воображал это себе.

Мать тихо плакала, стараясь, чтобы я не услышал, что она плачет; но слепые, как известно, обладают острым слухом. У меня же никакого желания плакать не было. Я пролил достаточно слез. Я слышал, как шептались родители. Потом сквозь теплую тьму до меня донесся голос матери: «По-моему, он засыпает», – и я действительно заснул.

И отец отнес меня в постель на руках, как маленького.

Когда я проснулся, вокруг было темно, и я сел, чтобы посмотреть, не видна ли полоска рассвета над холмами за окном моей комнаты, но окна отчего-то увидеть не смог и очень удивился: неужели тучи закрыли все небо и звезды? А потом услышал, как поют птицы, приветствуя восход солнца, и нащупал на лице черную повязку.

Странное это дело – привыкать быть слепым. Я когда-то спрашивал Канока, что такое воля, что означает выражение «пожелать чего-то». И вот теперь я научился понимать, что это такое.

Схитрить, смошенничать, взглянуть хотя бы одним глазком, увидеть только один раз – подобное искушение, разумеется, возникало без конца. Каждый шаг, каждое действие, которое теперь стало так невероятно трудно совершать, ибо я двигался крайне неуклюже, могли в один миг вновь стать легкими и естественными. Просто приподними повязку на минутку, взгляни хоть раз...

Я не поднимал повязку. Правда, несколько раз она соскальзывала сама – и в глазах у меня темнело от ослепительно-яркого света дня. Потом мы стали подкладывать на глаза под повязку мягкие прокладки, и теперь повязку уже не нужно было так сильно затягивать на затылке. И я уж точно ничего не мог увидеть. И чувствовал себя в безопасности.

Да, именно так: теперь я чувствовал себя в безопасности. Научиться быть слепым – нелегкое дело, это правда, но я был упорен. Чем больше нетерпения я проявлял, злясь на собственную беспомощность, неспособность видеть и на саму повязку, тем сильнее я боялся приподнять ее. Она спасала меня от ужаса, связанного с возможностью уничтожения мною чего-то такого, что я уничтожать совсем не хотел. Пока повязка была на моем лице, я не мог разрушить ничего из того, что любил. Я помнил, что тогда наделал, выпустив на волю свой страх и гнев. Я помнил тот миг, когда мне показалось, что я уничтожил собственного отца. Ну и пусть: если я не смогу научиться управлять своим даром, я, по крайней мере, смогу научиться им не пользоваться.

Вот этому я действительно хотел научиться, потому что только так мог по-настоящему проявить свою волю. Только в повязке на глазах я мог обрести хоть какую-то свободу.

В первый день своей слепоты я ощупью спустился в вестибюль Каменного Дома и долго шарил руками по стене, пока не отыскал посох Слепого Каддарда. Я давно уже не брал его в руки. Детская забава, когда я прикасался к нему только потому, что это было мне категорически запрещено, осталась, как мне теперь казалось, в далеком прошлом. Но я помнил, где он находится, и знал, что теперь имею на него полное право.

Посох был слишком высок для меня и оказался очень тяжелым и неуклюжим, но мне нравилось касаться его потертого набалдашника, его шелковистой на ощупь древесины. Я вытаскивал его на середину комнаты, постукивал его концом по стене, и он сам повел меня через вестибюль. После этого я часто брал его, когда выходил из дому. В доме же я лучше ориентировался, двигаясь на ощупь. А снаружи посох придавал мне определенную уверенность. Это было мое оружие. На случай непредвиденной угрозы. Я мог бы нанести им удар – ударить не той ужасной силой, что была заключена во мне, а просто ударить, просто ответить нападающему и защитить себя. Будучи лишенным зрения, я постоянно чувствовал собственную уязвимость, понимал, что любой может меня одурачить или обидеть. И тяжелый посох в руке придавал мне уверенности.

Сперва мать отнюдь не давала мне того утешения, какое я всегда находил у нее прежде. За поддержкой и одобрением я теперь обращался к отцу. Мать не могла смириться с нашей затеей, не могла поверить, что я поступаю правильно, что это необходимо. Ей все это казалось чудовищным результатом присутствия в нашей жизни каких-то сверхъестественных сил или верований.

– Ты можешь снять свою повязку, когда ты со мной, Оррек, – говорила она.

– Нет, мама, не могу.

– Но это же глупо – так бояться! Глупо, Оррек. Ты же никогда не причинишь мне вреда. Носи ее вне дома, раз уж это так необходимо, но не здесь, не со мной. Я хочу видеть твои глаза, сыночек!

– Мама, я не могу! – Больше мне нечего было ей сказать. И приходилось повторять это снова и снова, потому что она жаловалась и настаивала. Она же не видела мертвого Хамнеду и никогда не ходила к Рябиновому ручью, на тот чудовищно искореженный, сожженный склон холма. Мне даже хотелось, чтобы она все-таки сходила туда, но попросить ее об этом я не смог. И спорить с нею мне совсем не хотелось.

Наконец в голосе ее зазвучала самая настоящая горечь.

– Это же просто невежественные суеверия, Оррек! – возмущалась она. – Мне стыдно за вас с отцом! Я считала, что лучше учила тебя. Неужели ты думаешь, что тряпка на глазах способна уберечь от дурных поступков, если в душе уже воцарилось зло? А если в душе твоей правит добро, то пожелаешь ли ты сейчас сотворить добро? «Остановишь ли ветер стеною трав или прилив – одним лишь словом?» – В отчаянии мать невольно цитировала молитвы, которые еще ребенком в отчем доме выучила наизусть.

Но я по-прежнему стоял на своем, и она сказала:

– Тогда, может, мне сжечь ту книгу, которую я сделала для тебя? Теперь ведь она для тебя бесполезна. Она тебе не нужна – ты закрыл не только свои глаза, но и свой ум.

Ее слова заставили меня выкрикнуть:

– Но это же не навсегда, мама! – Мне не хотелось ни говорить, ни думать о каких-то конкретных сроках своей слепоты, о том дне, когда я смогу снова видеть: я даже вообразить себе этот день не осмеливался; я боялся того, что снова даст мне возможность видеть, но еще больше я боялся безосновательных надежд. Однако угрозы матери, ее боль и презрение заставили меня сделать это признание.

– И сколько же еще ждать?

– Не знаю. Пока я не научусь... – Но я не знал, что сказать ей. Разве я смогу когда-нибудь научиться использовать тот дар, с которым не в силах справиться? Ведь я с детства пробовал это делать, но так и не научился.

– Ты научился всему, чему мог научить тебя твой отец, – сказала она, словно прочитав мои мысли. – Даже слишком хорошо научился! – И она вдруг вскочила и ушла, не сказав мне больше ни слова. Легкое шуршание – она накинула на плечи шаль, – и ее шаги прозвучали уже за дверью.

Но Меле была отходчива, долго сердиться не умела и уже вечером, пожелав мне спокойной ночи, шепнула – и в голосе ее я услышал знакомую, милую и печальную улыбку:

– Разумеется, я никогда не сожгу твою книгу, мальчик мой дорогой! И твою повязку тоже, как бы мне этого ни хотелось. – И больше она уже никогда не просила меня снять повязку и не протестовала, а стала принимать мою слепоту как факт и помогала мне, чем могла.

Самое лучшее, как я понял, став слепым, – это стараться вести себя так, словно по-прежнему все видишь: передвигаться не осторожно, ошупью, а шагать решительно и в крайнем случае даже налетать лбом на стену, если уж на пути тебе попадется стена, или падать, если уж попал ногой в яму. Я научился отлично передвигаться по дому и по двору и старался держаться знакомой территории; здесь я чувствовал себя совершенно свободно и выходил из дому так часто, как только мог. Я седлал и взнуздывал старую добрую Чалую, которая так же терпела мои неуверенные движения, как когда-то, когда мне было лет пять, мое неумение ездить; садился на нее и позволял ей везти меня куда ей самой понравится. Как только я оказывался в седле и далеко от тех звуков, что были свойственны конюшне и хозяйственным постройкам, мне уже ничто не могло подсказать дорогу; я мог оказаться на склоне ближнего холма, или высоко в горах, или даже на луне, но Чалая-то всегда знала, где мы находимся, и отлично понимала, что я уже не тот бесстрашный наездник, каким был когда-то. Она, как умела, заботилась обо мне и всегда вовремя привозила меня домой.

– Я хочу поехать в Роддмант, – сказал я, когда прошло недели две и я уже немного привык к повязке на глазах. – Я хочу попросить Грай подарить мне другого щенка. – Мне пришлось долго собираться с мужеством, чтобы сказать это, потому что судьба бедного Хамнеды по-прежнему тревожила мою память. Но мысль о том, чтобы иметь собаку, которая помогала бы мне, ставшему теперь слепым, пришла ко мне как-то ночью, и я понимал, что это хорошая мысль. А еще мне страшно хотелось поговорить с Грай.

– Ты хочешь завести новую собаку? – удивился Канок, но Меле сразу поддержала меня, воскликнув:

– Это прекрасная идея! Я тоже поеду... – Я знал: она хотела сказать, что поедет в Роддмант вместе со мной (она довольно плохо ездила верхом и побаивалась лошадей, даже Чалой), однако она сказала так: – Я тоже поеду с тобой, если хочешь.

– Можно, например, завтра?

– Отложи немного свою поездку, – сказал мне Канок. – Сейчас нам пора готовиться к поездке в Драммант.

За всеми последними событиями я совсем позабыл о бранторе Отге и его приглашении. Напоминание об этом тут же пробудило в моей душе прежний протест.

– Но я сейчас не смогу туда поехать! – сказал я.

– Ничего, сможешь, – возразил отец.

– А почему он должен ехать туда? Почему? – поддержала меня мать.

– Я уже объяснял, почему это необходимо. – Голос Канока звучал жестко. – Возможно, нам удастся заключить с Драммантом перемирие. А может, и дружбу. Кроме того, существует еще возможность помолвки.

– Но ведь теперь Драм ни за что не захочет, чтобы его внучка была помолвлена с Орреком! – воскликнула мать.

– Ты уверена? Когда он узнает, что Оррек способен убивать взглядом и его дар оказался настолько силен, что ему пришлось закрыть повязкой глаза, чтобы пощадить своих возможных врагов? Да Огге будет просто счастлив, если мы позволим ему получить то, о чем он мечтает! Разве ты не понимаешь?

Никогда еще не слышал я в голосе отца такого жестокого победоносного ликования. И это как-то неприятно удивило меня. Я словно вдруг очнулся ото сна.

Впервые я стал понимать, что повязка на глазах делает меня не только уязвимым, но и пугающим. Для окружающих это означало, что моя сила так велика, что выпускать ее на волю ни в коем случае нельзя, ее необходимо сдерживать, держать взаперти. И если я вдруг сниму с глаз повязку, то и сам стану оружием в чьих-то руках. Точно посох Каддарда, когда я беру его в руки...

И еще я понял, почему многие и у нас в доме, и в соседних домах теперь, после того как я надел на глаза повязку, обращаются со мной иначе: с уважением и смущением, а не с прежним легкомысленным панибратством; почему люди умолкают, когда я подхожу ближе; почему стараются неслышно прокрасться мимо меня, надеясь, что я их не замечу. Я думал, они избегают и презирают меня, потому что я ослеп, но мне даже в голову не приходило, что они просто меня боятся, зная, ПОЧЕМУ я решил добровольно ослепнуть.

И теперь мне действительно предстояло убедиться, сколь сильно разрослась молва о моем «диком даре», какую сомнительную славу я теперь приобрел. Говорили, например, что я уничтожил целую стаю диких собак и брюхо у каждой было вспорото, словно ножом. А еще я, оказывается, повел глазами по окрестным холмам – и полностью избавил Каспромонт от ядовитых змей! С другой стороны, стоило мне глянуть на домик старого Уббро – и в ту же ночь старика разбил паралич, так что он и говорить теперь не может, и все это было с моей стороны не наказанием, а всего лишь проявлением моего «дикого дара». А когда я поехал искать пропавших белых телок, то стоило мне их увидеть – и я тут же уничтожил их на месте, сам того не желая. Вот после этого-то, опасаясь своей непредсказуемой и ужасной силы, я и ослепил себя, – а может, сам Канок меня ослепил, точнее, запечатал мне глаза. Если же кто-то отказывался верить этим рассказам, его вели к Рябиновому ручью и показывали склон холма с останками погибших деревьев, раздробленными костями многочисленных птичек, кротов и мышей и превратившимися в песок и гальку валунами.

Тогда я еще всех этих сказок не знал, но мне уже чудилось, что я обрел некую новую силу, которая проявлялась отнюдь не в деяниях, а в словах: в моей теперешней репутации.

– Мы поедем в Драммант послезавтра, – сказал отец. – Пора. Выедем пораньше, чтобы к ночи уже добраться туда. Надень свое красное платье, Меле. Я хочу, чтобы Драм увидел подарок, который он преподнес мне когда-то.

– Ох, милый! – огорченно воскликнула мать. – И сколько же мы должны там гостить?

– Дней пять-шесть, я думаю.

– Боже мой, что же мне подарить жене брантора? Я ведь должна привезти ей какой-то подарок, правда?

– Это не обязательно.

– Нет, обязательно! – отрезала мать.

– Ну, привези ей какой-нибудь гостинец, уж на кухне-то у тебя наверняка что-то подходящее найдется.

– Найдется! – фыркнула мать. – На кухне в такое время года ничего интересного не сыщешь.

– А ты подари ей корзину цыплят, – предложил я. Мать утром брала меня на птичий двор, чтобы я помог ей справиться с новым выводком цыплят, и совала их мне в руки – невесомых, нежно попискивавших, тепленьких, глупых, с острыми клювиками.

– Да, это хорошая мысль, – одобрила она.

И когда послезавтра рано утром мы выехали из дома, к ее седлу была приторочена корзина, из которой доносился неумолчный писк. Я ехал с ней рядом, одетый в новый килт и новую куртку – костюм настоящего мужчины.

Поскольку я мог ехать только на Чалой, матери пришлось ехать на Грейлаге. Наш серый жеребец был абсолютно надежен, хотя его высота и величина пугали Меле. Отец мой взял рыжего Бранти. Обучение Бранти он полностью поручил нам с Аллоком, но, когда он садился на Бранти сам, всем сразу становилось ясно: они с этим рыжим жеребцом просто созданы друг для друга – оба такие красивые, нервные, гордые и стремительные! Жаль, что я не мог видеть отца в то утро! Мне страшно этого хотелось. Но я сел на добрую старушку Чалую и позволил ей везти меня вперед – во тьму.

Глава 10

Было очень странно и утомительно – ехать целый день и не видеть, мимо чего проезжаешь, слыша лишь стук подков да скрип седел, чувствуя запах конского пота и цветущего ракитника да еще прикосновения ветерка и лишь догадываясь, какова в этих местах дорога, по походке Чалой. Будучи не в состоянии вовремя заметить ухаб или вынужденную остановку, я был очень напряжен в седле и частенько, забыв всякий стыд, хватался за переднюю луку седла, чтобы сохранить равновесие. Мы были вынуждены ехать в основном гуськом, так что ни о каких разговорах и думать не приходилось. Мы, правда, то и дело останавливались, чтобы мать могла дать цыплятам воды, а около полудня и сами устроили привал, да и лошадей пора было покормить и напоить. Цыплята с энтузиазмом запищали и набросились на угощение, которое мать высыпала им в корзинку. Я спросил, где мы сейчас находимся. Под Черным утесом, сказал отец, в Кордеманте. Я даже представить себе это место не мог – я никогда еще не уезжал так далеко от границ Каспроманта. Вскоре мы снова двинулись в путь, и весь остаток того дня показался мне сплошным скучным и черным сном.

– Клянусь священным камнем! – вдруг воскликнул отец. Он никогда не клялся, даже этой ерундовой старомодной клятвы никогда не произносил, и это настолько поразило меня, что я очнулся от тупой дремоты. Мать ехала впереди, ибо ошибиться тут, на единственной тропе, было невозможно, а отец сзади, приглядывая за нами обоими. Она его возгласа не расслышала, но я спросил:

– Что случилось?

– Ты представляешь, наши телки! – сказал он. – Вон они! – И, вспомнив, что я не могу увидеть, куда он показывает, пояснил: – Там, у подножия холма, на лугу пасется довольно большое стадо коров, и только две коровы белые. Остальные бурые или рыжие. – Он минутку помолчал – наверное, старался разглядеть получше. – Ну да, у обеих горб и рога короткие, – сказал он. – Точно наши!

Теперь уже остановились мы все, и мать спросила:

– Мы все еще в Кордеманте?

– В Драмманте, – сказал отец. – Уже несколько часов по нему едем. Но это коровы той породы, что когда-то была выведена в Роддманте. И мои белые коровки наверняка тоже там! Надо бы подъехать поближе, посмотреть.

– Не теперь, Канок, – сказала Меле. – Скоро стемнеет. Нам лучше ехать дальше. – В ее голосе чувствовалось понимание и сочувствие, и отец ее послушался.

– Ты права, – сказал он, и я услышал, что Грейлаг пошел дальше. Чалая последовала за ним, так что мне даже не пришлось понукать ее, и рыжий жеребец тоже тронулся с места.

Мы подъехали к Каменному Дому Драмманта, и для меня это оказалось необычайно тяжело – чужие места, чужие люди и полная неспособность видеть. Мать взяла меня за руку, как только я спешился, и не отпускала от себя, – впрочем, возможно, не только мне, но и ей требовалась поддержка, а вдвоем все-таки было легче. Среди множества других голосов я услышал громкий дружелюбный бас Огге Драма:

– Ну и ну! Решили, значит, все-таки навестить нас! Мы очень рады! Добро пожаловать в Драммант! Мы, конечно, люди небогатые, но рады поделиться с вами всем, что имеем! Но что это? Почему у мальчика повязка на глазах? Что с тобой случилось, парень? Слабые глаза, да?

– Ах, мы были бы рады, если б так, – вздохнув, заметил Канок. Он был опытный фехтовальщик, а Огге этим искусством совсем не владел, предпочитал шпаге дубину. И сам, по моему, был редкостным дубиной! Такой тебе даже не ответит и намек твоего не поймет; он, может, тебя и услышит, да внимания на твои слова никакого не обратит. Он и говорить с тобой

будет так, словно ты для него пустое место, и сперва это, возможно, даже выгодно для него, но потом бывает и с точностью до наоборот.

– Что ж, неприятно, конечно, когда тебя ведут за ручку, точно младенца, но ничего: парень ваш вырастет и избавится от своего недуга. Идемте вот сюда. Эй, позаботьтесь о лошадях! Барро, кликни служанок, пусть приведут мою жену! – И Огге продолжал раздавать приказы и распоряжения, создавая вокруг шум и суету. Я чувствовал, что повсюду снуют люди, толпы невидимых, неизвестных мне людей. Моя мать кому-то объясняла, что эта корзина с цыплятами предназначена для супруги брантора. Она по-прежнему крепко держала меня за руку и попросту волокла меня за собой через бесконечные пороги и ступеньки. Когда мы наконец остановились, в голове у меня образовался настоящий водоворот. Нам принесли тазы с водой, и люди так и жужжали вокруг, пока мы поспешно смывали дорожную пыль и отряхивали одежду. Впрочем, мать успела еще и переодеться.

Затем мы снова сошли вниз и оказались в комнате, которая, судя по гулкому эху, была очень большой и с высокими потолками. Там был камин: я слышал потрескивание пламени и чувствовал волны тепла на лице и голых ногах. Мать не снимала руки с моего плеча.

– Оррек, – сказала она, – это супруга брантора, леди Денно. – И я поклонился в том направлении, откуда до меня донесся хрипловатый, какой-то усталый голос, предложивший мне чувствовать себя в Драмманте как дома. Затем мне представили других членов семьи Драм – старшего сына брантора, Харбу, и его жену, младшего сына брантора, Себба, и его жену, дочь брантора с мужем, чьих-то взрослых детей, внуков и т. д. Все это были сплошные имена – без лиц, тонувшие в полной темноте. Застенчивый мелодичный голос моей матери был едва слышен среди этих громогласных людей; и я ничего не мог поделать с собой, болезненно чувствуя, как сильно наша Меле от них отличается, как странно звучит здесь ее утонченная речь, какими чуждыми кажутся ее воспитанность и врожденная деликатность, – во всем, даже в том, как она произносит некоторые слова, чувствовалось, что она уроженка Нижних Земель.

Отец был тоже поблизости, у меня за спиной. Он отнюдь не все время поддерживал беседу с чересчур разговорчивыми жителями здешнего замка, но на вопросы их отвечал быстро и любезно, смеялся их шуткам, и в голосе его при этом слышалось даже некоторое удовольствие от возобновления старой дружбы. Один из этих людей, по-моему из семейства Барре, сказал:

– Значит, этот парнишка – обладатель «дикого дара», верно?

И Канок ему ответил:

– Верно. – И тут же в беседу вступил кто-то еще:

– Что ж, ничего страшного, вот войдет в полную силу и с даром своим справится. – И этот новый их собеседник принялся рассказывать какую-то байку о мальчике из Олмманта, у которого дар оставался диким аж до двадцати лет. Я изо всех сил старался дослушать эту историю, но не сумел: ее заглушил гул голосов.

Через некоторое время нас пригласили за стол, и это оказалось для меня поистине ужасным испытанием; дело в том, что слепому требуется очень много времени, чтобы научиться есть прилично, а я этого умения приобрести еще не успел. Я боялся даже притронуться к чему-либо: мне казалось, что я непременно что-нибудь разолью, рассыплю или испачкаюсь сам. Меня сразу же попытались посадить отдельно от матери, а ее брантор Огге пригласил сесть во главе стола вместе с мужчинами, однако она мягко, но уверенно отвергла это приглашение и настояла на своем желании сидеть рядом со мной. Она помогала мне и резала кушанья, и я вполне аккуратно мог брать эти кусочки пальцами и отправлять в рот, не шокируя окружающих своей неловкостью. Хотя у них в Драмманте хорошими манерами явно никто похвастаться не мог, если судить по тому, с каким шумом они жевали и глотали пищу, а потом еще и рыгали.

Мой отец сидел гораздо дальше от нас, где-то рядом с Огге, и, когда шум за столом несколько утих, я расслышал его тихий спокойный голос и почувствовал в нем какую-то стран-

ную веселую нотку, какую-то легкую насмешливость, которой никогда прежде у него не замечал.

– Я от всей души хочу поблагодарить тебя, брантор, за заботу о моих телках! А я-то проклинал себя, ругал себя последними словами, когда вовремя изгородь не отремонтировал! Они, конечно же, просто перепрыгнули через нее в том месте, где выпал очередной камень. Они ведь очень легконогие, эти белые коровки. Я уж почти смирился с тем, что они пропали. Думал, их кто-то в Нижние Земли свел, в Дьюнет. Да они бы там и оказались, если бы твои люди их не поймали и не сберегли для меня! – На том конце стола воцарилось напряженное молчание, хотя на нашем конце несколько женщин все еще увлеченно болтали. – Я ведь очень рассчитывал на этих телок, – продолжал Канок тем же доверительным, располагающим тоном, – надеялся постепенно восстановить их поголовье, чтобы и у меня было такое же стадо, как у Слепого Каддарда. В общем, Огге, прими мою сердечную благодарность! Считаю, что первый же теленок, которого они принесут, – бычок или телочка, кого захочешь, – твой. Тебе нужно будет только послать за ним.

Теперь за столом, хотя и ненадолго, установилась полная тишина. Потом кто-то на том конце не выдержал:

– Отлично сказано, брантор Канок! – И его тут же поддержали другие, но голоса Огге я среди них не слышал.

Наконец обед закончился, и моя мать попросила разрешения подняться в свою комнату и меня забрала с собой. Мы уже уходили, когда Огге громко спросил:

– Что ж ты так рано уходишь и молодого Оррека уводишь от нас? Он ведь уже взрослый парень. Посиди с мужчинами, сынок, попробуй мое весеннее пиво!

Но Меле кротко сказала, что просит прощения: и она, и я слишком устали после целого дня езды верхом. Неожиданно ее поддержала и жена брантора, Денно.

– Отпусти мальчика, Огге, – сказала она своим хриловатым и как будто усталым голосом, так что удрать оттуда нам все же удалось, а вот отцу пришлось остаться и пить пиво вместе с остальными мужчинами.

Наверное, было уже очень поздно, когда он наконец поднялся в нашу комнату; я уже спал, но проснулся, потому что в темноте он налетел на стул, потом еще что-то уронил, и Меле прошептала:

– Тише! Ты пьян!

А он ответил ей громче, чем, видимо, хотел:

– Это не пиво, а лошадиная моча! – И она засмеялась, а он фыркал и, бродя по комнате и налетая на мебель, бормотал: – Где же эта проклятая кровать? – Наконец они улеглись. Я лежал на своей узкой кровати под окном и слушал, как они шепчутся.

– Канок, зачем же ты так ужасно рисковал?

– Мы рисковали, уже просто приехав сюда.

– Но когда ты стал говорить об этих телках...

– А что, молчать было бы лучше?

– Но ты же прилюдно бросил ему вызов!

– Да, и ему оставалось либо солгать в присутствии своих же людей – хотя все они и так прекрасно знают, как эти телки сюда попали, – либо принять тот выход, который я ему предложил.

– Тише, ради бога, тише! – прошептала Меле, потому что Канок опять заговорил почти в полный голос. – Ну и хорошо, что он предпочел этот выход.

– Это еще вопрос. Мы еще увидим, что именно он предпочел. А где, кстати, была эта девчонка? Ты ее уже видела?

– Какая девчонка?

– Да невеста же! Эта их скромница!

– Канок, тише! – Мать не то сердилась, не то смеялась.

– Ну и закрой мне рот, милая, закрой мне рот, – прошептал он, и я опять услышал ее тихий смех, скрип кровати, и все стихло. А я снова провалился в сокровищницу снов.

На следующий день брантор Огге послал за моей матерью и пригласил ее присоединиться к ним, поскольку собирался показать моему отцу свои владения, свои дома, амбары и конюшни. Пригласили и меня. Кроме Меле, в компании не было ни одной женщины; с нами отправились также сыновья Огге и еще несколько человек из Драмманта. Огге разговаривал с моей матерью как-то странно, неестественно – покровительственно и в то же время льстиво. Я слышал, как он обсуждал ее внешность с другими мужчинами, словно она была просто красивым животным: хвалил ее стройные лодыжки, ее волосы, ее походку. А в разговоре с ней он то и дело упоминал о ее происхождении, с презрением или высокомерием намекая на то, что она нездешняя, что она уроженка Нижних Земель, то есть существо низшего порядка. И все же он прямо-таки прилип к ней, точно огромная пиявка. Я несколько раз пытался влезть между ними, но он тут же оказывался рядом, только по другую сторону от нее. Видимо, я его раздражал, и несколько раз он предлагал Меле – только что не приказывал! – отослать меня к «другим детям» или к моему отцу. Она ни разу прямо ему не отказала, но отвечала таким легким веселым тоном, с улыбкой, что как-то все же получалось, что я все время оставался при ней.

Когда мы вернулись в Каменный Дом, Огге сообщил, что готовится большая охота на кабанов в северных холмах Драмманта. Ждут только прибытия Парн, матери Грай. Меле колебалась, явно встревоженная, и он сказал ей:

– Ну, в конце концов, охота на кабанов – дело не женское. Это занятие опасное. Но парня своего ты все-таки с нами отпусти, пусть немного развеется, а то все бродит в своей повязке да скучает. Ведь даже если кабан на него и бросится, ему только глазом моргнуть – и прощай кабанчик! Верно, парень? На кабаньей охоте такой быстрый глаз, как у тебя, всегда пригодится.

– Только пусть уж лучше это будет мой быстрый глаз, – вмешался отец. Он сказал это все тем же безупречно любезным веселым тоном, каким постоянно пользовался с тех пор, как мы приехали в Драммант. – А Оррека использовать пока что слишком рискованно.

– Рискованно? Неужели твой парень свиней боится?

– Нет, я не о нем. – И я почувствовал, что на этот раз острый кончик его шпаги все же чуть-чуть кольнул Огге.

И тот мгновенно перестал притворяться и делать вид, что ему якобы не понятно, почему мои глаза закрыты повязкой; и стало ясно, что все в Драмманте прекрасно знают, зачем это сделано, и, мало того, верят в любые, даже самые дикие истории о моих «подвигах». Я был мальчиком с «диким», разрушительным даром, столь могущественным, что не мог пока совладать с ним. Я был очередным Слепым Каддардом. И, несмотря на все выпады Огге, моя репутация ставила нас на недостижимую для него высоту. Впрочем, кроме привычной дубины, было у него и другое оружие.

Вчера вечером и нынче утром вокруг нас роилось множество людей, однако мы все еще не были представлены внучке брантора Огге, дочери его младшего сына Себба Драма и Даредан Каспро. С ее родителями, впрочем, мы уже познакомились. У Себба оказался такой же гулкий жизнерадостный бас, как и у его отца; Даредан поговорила лишь с моей матерью и со мной, причем таким ласковым и тихим голосом, что я почему-то вообразил, что она глубокая старуха, хотя Канок говорил, что она еще совсем не старая. Когда, уже ближе к полудню, мы вернулись в дом после прогулки, то снова встретили там Даредан, но дочери с ней не было – той самой девушки, которую прочили мне в невесты, той самой «скромницы», как называл ее Канок ночью. И, вспомнив, каким тоном он произнес это слово, я покраснел.

Похоже, Огге обладал даром читать чужие мысли, потому что громко сказал, обращаясь ко мне:

– Придется тебе, молодой Каспро, подождать несколько дней, прежде чем ты сможешь познакомиться с моей внучкой Вардан. Она у старого Римма гостит, там у нее сестры двоюродные. Хотя какой тебе смысл знакомиться с девушкой, если ты ее даже увидеть не можешь? Впрочем, есть, конечно, и другие способы узнать девушку, как ты и сам потом поймешь. И куда более приятные! – (Мужчины вокруг засмеялись.) – Ничего, Вардан будет уже дома, когда мы после кабаньей охоты вернемся.

Парн Барре прибыла в полдень, и с этого времени все разговоры в доме были только об охоте. Мне пришлось тоже поехать. Мать, правда, меня не пускала; она явно хотела запретить мне «участвовать в этом безумии», но я понимал, что выхода у меня нет, и сказал:

– Не тревожься, мама. Я буду верхом на Чалой, а она меня в обиду не даст.

– Да и я при нем буду, – пообещал Канок. Я чувствовал, что мое решение непременно участвовать в охоте очень ему по нраву.

Мы выехали еще до рассвета. Канок действительно не отходил от меня ни на шаг. И стал для меня единственной точкой опоры в этой бесконечной, бессмысленной скачке в темноте, в неожиданных остановках, криках и молчании, в появлении и исчезновении большого количества людей. И конца этому видно не было. Мы охотились пять дней, и я ни разу так и не смог как следует собраться с мыслями; я ни разу не знал, что именно находится впереди, куда в следующий момент поставлю ногу. Никогда еще искушение приподнять повязку на глазах не было сильнее, и все же я не решался это сделать, пребывая в постоянном раздражении, вызванном страхом и собственным бессилием, чувствуя себя униженным, жалким. Я безумно боялся громкого, чересчур бодрого голоса брантора Огге и никуда не мог от него скрыться. Порой он делал вид, что верит, будто я и в самом деле слеп, и громко меня жалел, но даже и тогда он дразнил меня, подзуживал, испытывал мое терпение, хотя и не требовал открыто, чтобы я снял с глаз повязку и показал всем свой разрушительный дар. Огге боялся меня и злился из-за этого страха; ему хотелось, чтобы я страдал, потому что он меня боится; и он прямо-таки сгорал от любопытства, потому что понятия не имел, какова же в действительности моя сила. Он никогда не переступал определенной черты во взаимоотношениях с Канок, ибо прекрасно знал, на что тот способен. Но на что способен я, ему было неизвестно. А что, если эта повязка на глазах просто блеф, обман? Огге был похож на ребенка, который дразнит сидящую на цепи собаку, пытаясь понять, действительно ли она может его укусить. Но в данном случае это я сидел на цепи, это меня он дразнил и заставлял почувствовать, что я полностью в его власти. Я ненавидел его так сильно, что знал: если я посмотрю на него, ничто меня не остановит, я просто уничтожу его, как отец – ту крысу, как я – ту гадюку и несчастного Хамнеду...

Парн Барре приманила охотникам стадо диких свиней аж из предгорий Эйрн, а потом отозвала хрюка подальше от свиноматок. Когда собаки и люди окружили кабана, она покинула место охоты и вернулась в лагерь, где были оставлены те лошади, что везли поклажу, слуги и я.

Когда охотники уезжали из лагеря, момент для меня был действительно весьма позорный.

– Ты мальчишку-то с собой возьмешь, Каспро? – спросил брантор Огге, и мой отец ответил ему самым разлюбезным тоном, что мне со старушкой Чалой никуда ехать не стоит, потому что мы будем только всех задерживать. – Так, может, и тебе лучше вместе с ними остаться, на всякий случай, а? – насмешливо пробасил Огге, и Канок тихо ответил:

– Нет, я тоже хотел бы в охоте поучаствовать.

Прежде чем садиться на коня, отец коснулся моего плеча – он взял Грейлага, а не Бранти, – и шепнул:

– Держись, сынок!

И я держался изо всех сил, сидя в одиночестве, поскольку слуги Драма старались находиться от меня подальше и вскоре вообще обо мне позабыли, громко болтая и смеясь. Я же понятия не имел, что происходит вокруг; рядом лежал только скатанный спальный мешок, в котором я спал прошлой ночью и на который теперь опирался левой рукой. Весь остальной

здешний мир казался мне совершенно неведомым; меня словно подхватил какой-то непонятный поток, в котором я мгновенно утонул бы, стоило мне встать и сделать шаг или два. На земле под ногами я отыскивал несколько мелких камешков и играл с ними, перебрасывая из руки в руку, пересчитывая, пытаюсь построить из них башенку или выложить в ряд, чтобы хоть как-то развеять бесконечную скуку. Мы вряд ли сознаем, как много удовольствий и интереса в жизни получаем благодаря глазам, до тех пор, пока не наступает пора обходиться без зрения; и значительная радость нашей жизни проистекает как раз из того, что глаза могут сами выбирать, на что им смотреть. А вот уши не могут выбирать, что именно им слушать. Я хотел бы слушать пение птиц, ибо лес был полон их весенней музыки, но слышал главным образом крики слуг и их дурацкий смех, невольно думая о том, до чего же мы, люди, шумный народ.

Я услышал, как в лагерь возвращается какая-то лошадь, а голоса стали не такими громкими, и вскоре кто-то сказал рядом со мною:

– Оррек, это я, Парн. – И я почувствовал ласку уже в том, что она назвала себя, хотя я и так узнал бы ее по голосу, очень похожему на голос Грай. – Я тут тебе немножко сушеных фруктов привезла, подставь-ка ладошку. – И она положила мне в руку несколько сушеных слив. Я поблагодарил ее и принялся жевать угощение. Она присела рядом со мною, и я слышал, что она тоже жует сливу.

– Значит, так, – сказала она, точно подводя итоги, – этот кабан, видимо, уже успел убить двух-трех собак и столько же людей. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Может быть, люди все-таки убили его и теперь потрошат, вырубая жерди, чтобы отнести тушу в лагерь, собаки дерутся из-за кабаньих внутренностей, а лошади пытаются отойти подальше ото всего этого, да не могут. – Парн сплюнула. По-моему, сердито. А может, просто выплюнула сливовую косточку.

– А ты никогда не остаешься посмотреть, как убивают зверя? – смущаясь, спросил я. Я знал Парн чуть ли не с рождения, но всегда относился к ней с некоторой опаской и одновременно с восхищением.

– Только не при охоте на кабана и медведя. Охотникам в таких случаях всегда хочется, чтобы я удержала животное, помогла им убить его. Обеспечила им все преимущества. Но это было бы слишком несправедливо.

– А когда охотятся на оленей или, скажем, зайцев?

– Ну, это обычная дичь. Таковую убивают быстро. А кабан и медведь – это вообще не дичь. Эти звери заслуживают честной схватки.

У Парн была совершенно определенная и, по-моему, справедливая позиция на сей счет, и я был полностью с ней согласен.

– Грай подыскала тебе собаку, – сказала Парн.

– Я как раз хотел попросить ее...

– Как только она узнала, что тебе завязали глаза, то сразу решила, что теперь тебе понадобится собака-поводырь. И очень неплохо поработала с одним из щенков нашей овчарки Кинни. Хорошие собачки. Ты заезжай в Роддмант по пути домой. Грай будет рада, да и собака, наверное, для тебя уже готова.

Наш разговор с Парн был самым лучшим, самым приятным моментом за всю эту бесконечную проклятую поездку.

Охотники вернулись в лагерь очень поздно и порознь. Мне, конечно, ужасно хотелось спросить об отце, но я не осмеливался и только прислушивался к тому, что говорили другие, надеясь услышать и его голос. Наконец вернулся и он, ведя в поводу Грейлага, который слегка повредил ногу, попав в какую-то ямку. Отец ласково поздоровался со мной, но я почувствовал, что он едва сдерживает отчаяние. Охота прошла крайне неудачно. Отге с его старшим сыном все время спорили и всех сбивали с толку, так что кабан, которого хоть и заманили в ловушку, все же успел убить двух собак и удрать, и во время погони одна из лошадей сломала ногу. А

потом кабан забрался в заросли, и охотникам пришлось спешиться, чтобы снова окружить его, и он распорол брюхо еще одной собаке, и наконец – тут отец наклонился к нам с Парн и очень-очень тихо сказал:

– Они все стали колоть бедного зверя копьями, но ни один так и не осмелился подойти к нему достаточно близко, чтобы прикончить его ударом кинжала. Так что они его еще с полчаса мучили.

Мы сидели молча, слушая, как Огге с сыном орут друг на друга. Слуги наконец притащили тушу кабана в лагерь; я чувствовал отвратительную вонь дикого зверя и металлический запах крови. Печень торжественно разделили, чтобы затем каждый, кто принимал участие в этом убийстве, сам поджарил ее на костре. Канок, впрочем, даже не встал. Он выждал немного и пошел посмотреть, как там наши лошади. Я слышал, как сын Огге, Харба, кричит ему, чтоб он тоже взял свою долю кабаньей печенки, но голоса самого Огге я так и не услышал. Огге не пришел и подразнить меня, как обычно, хотя это, похоже, уже стало входить у него в привычку. Ни в тот вечер, ни в течение всего обратного пути Огге не сказал ни Каноку, ни мне ни единого слова. Я испытал огромное облегчение – мне осточертели его идиотские шутки, – но почему-то тревожился. И во время последней ночевки спросил отца, не сердится ли на него брантор.

– Он говорит, что я отказался спасти его собак, – сказал Канок. Мы лежали рядом с догоревшим, но еще теплым костром, голова к голове и шептались. Я понимал, что вокруг темно, и представлял себе, что ничего не вижу просто потому, что сейчас ночь.

– А как это было?

– Когда кабан вспорол двум собакам брюхо, Огге завизжал: «Ну, где же твой дар, Каспро, воспользуйся же им, наконец!» Слово не знает, что на охоте я им никогда не пользуюсь! Я взял копье и пошел на кабана вместе с Харбой и еще двумя ребятами. А Огге с нами не пошел. И нам не повезло: кабан бросился наутек и побежал прямо в ту сторону, где был Огге. Но он его не тронул. Если честно, Оррек, это была самая настоящая резня, как в мясницкой. И он теперь всю вину валит на меня.

– Мы должны еще оставаться в Драмманте, когда вернемся?

– Да, еще денек-другой.

– Он же ненавидит нас! – выдохнул я.

– Да, но только не Меле, не твою мать.

– Ее как раз больше всех! – возразил я.

Но Канок не понял меня или просто мне не поверил. Но я-то знал, что это правда. Огге мог сколько угодно надо мной издеваться, мог доказывать Каноку свое превосходство в богатстве и силе, но Меле Аулитта была для него недостижима. Я же видел, как алчно он смотрел на нее, когда приезжал к нам. Какое удивление, какая ненависть горели тогда в его взоре! Мне было ясно: он стремится во что бы то ни стало подобраться к ней поближе, произвести на нее впечатление своими хвастливыми речами, своими попытками опекать ее. И все это разбивается о ее тихую улыбку и уклончивые слова, на которые он просто не знает что ответить. Что бы он ни делал, она оставалась недостижимой! Она ведь даже ни чуточки его не боялась.

Глава 11

Когда же мы вернулись в Каменный Дом Драмманта после стольких дней и ночей, проведенных в лесу, и я наконец смог остаться наедине с матерью, вымыться и надеть чистую рубашку, то даже этот недружелюбный дом, которого я, впрочем, так и не видел, показался мне родным и знакомым.

К обеду мы спустились в зал, и там я услышал, как брантор Огге разговаривает с моим отцом – впервые за последние дни.

– Где твоя жена, Каспро? – спрашивал он. – Где эта хорошенькая каллюка? И где твой слепой мальчишка? Моя внучка приехала и хочет с ним познакомиться. Она проделала долгий путь – через все наши земли от самого Римманта. А, вот и ты, парень! Что ж, познакомься с Вардан. Интересно, как вы друг другу понравитесь? – И он засмеялся каким-то неестественным металлическим смехом.

Я услышал, как Даредан Каспро, мать девочки, шепнула ей, чтоб вышла вперед. А моя мать, положив руку мне на плечо, сказала:

– Мы очень рады познакомиться с тобой, Вардан. Смотри, детка, это мой сын, Оррек.

По-моему, девочка ничего не сказала, но мне то ли послышались, то ли почудились какие-то странные звуки – хихиканье или хныканье, – и я даже подумал, что у этой Вардан на руках щенок.

– Как поживаешь, Вардан? – осведомился я светским тоном и поклонился.

– Живаешь поживаешь по, – пробормотал кто-то, стоявший как раз там, где должна была находиться эта девочка. Голос был какой-то сдавленный, слабый.

Я не знал, что сказать еще, но моя мать не растерялась:

– Мы очень хорошо устроились, спасибо, милая. Путь из Римманта, должно быть, неблизкий? Ты, верно, очень устала?

И снова послышалось то щенячье повизгиванье.

– Да, она, бедняжка, очень устала, – с явным облегчением подхватила мать девочки, но тут рядом с нами раздался грохочущий бас Огге:

– Ну-ну, дайте же молодым людям немного поболтать друг с другом, не вкладывайте им в рот свои слова, женщины! И чтоб никакого сватовства! Хотя они, конечно, славная пара! Что скажешь, парень? Правда, Вардан у нас хорошенькая? И кстати, она той же крови, что и ты. Я имею в виду, конечно, не кровь каллюков. Всегда ведь считалось, что кровь благородных предков рано или поздно себя проявит! Ну что, нравится тебе моя внучка?

– Я, к сожалению, не могу ее увидеть, господин мой. Но полагаю, что она очень мила, – спокойно ответил я и почувствовал, как мать стиснула мое плечо. Не знаю уж, испугалась ли она моей смелости или призывала и впредь вести себя прилично.

– Не можешь ее увидеть? «Я не могу ее увидеть, господин мой»! – передразнил меня Огге. – Ну так позволь ей вести тебя. Она-то видит отлично. И глаза у нее красивые. Острые, цепкие. Глаза настоящей Каспро. Верно, девочка? Верно?

– Верно вер новерно. Верно не. Не верно. Мама, можно на лесенку?

– Да, детка. Сейчас пойдем. Она так долго была в пути и совсем устала, бедняжка. Пожалуйста, извините нас! Дорогой тесть, девочке необходимо немного отдохнуть.

И они, видимо, исчезли. А мы исчезнуть не могли. И обязаны были несколько томительных часов просидеть за длинным столом, ожидая, когда дожарится проклятый кабан. Его целый день жарили на вертеле. Наконец внесли кабанью голову, и в зале послышались ликующие крики. Выпили за охотников. Сильный запах жареной кабанятины наполнил зал. Мне на тарелку навалили целую гору мяса. Налили вина. Не пива или эля, а красного вина. Из всех Верхних Земель только Драммант выращивал свой виноград – на самом юге; и там делали

вино, густое, терпкое, кисло-сладкое. Вскоре голос Огге стал звучать еще громче, чем всегда; он то и дело прикрикивал на старшего сына и еще больше на младшего, отца Вардан.

– Ну что, устроим детишкам помолвку да попируем на радостях, а, Себб? – вопрошал Огге зычным басом и принимался обидно хохотать, не дождавшись ответа, а примерно через полчаса снова задавал тот же вопрос: – Как насчет помолвки, Себб? Эй, Себб! Тут все наши друзья собрались. Все под одной крышей – и Каспро, и Барре, и Корде, и все наше семейство. Можно сказать, лучшие семьи Верхних Земель. Ну, брантор Канок, что скажешь? Как ты насчет пирушки? Давайте же выпьем. Выпьем за нашу дружбу, верность и удачные браки!

После обеда мать хотела увести меня наверх, но нам не позволили. Пришлось остаться. Огге все сильнее пьянел. Он постоянно торчал где-то поблизости и без конца заговаривал с моей матерью. Его тон да и сами слова становились все более оскорбительными, но ни Меле, ни Канок, который старался не оставлять нас с ним наедине, на провокации не поддавались и ни разу не ответили ему сердито или раздраженно; они вообще почти никак ему не отвечали. Впрочем, через некоторое время к этой странной беседе присоединилась жена Огге; она, видно, решила послужить моей матери своеобразным щитом и отвечала теперь Огге вместо нее. Он явно надулся и решил развлечься, продолжив ссору со старшим сыном, а мы наконец получили передышку и поспешили незаметно выскользнуть из зала и подняться в свою комнату.

– Канок, мы можем уехать... прямо сейчас? – шепотом спросила мать, когда мы шли по длинному коридору к себе.

– Потерпи еще немного, – ответил он, когда мы вошли в комнату и плотно закрыли за собой дверь. – Сперва мне нужно переговорить с Парн Барре. А рано утром мы уедем. За ночь он ничего плохого нам сделать не успеет.

Она рассмеялась, но с каким-то отчаянием.

– Не бойся, я ведь с тобой, – услышал я голос Канока, и она, выпустив наконец мое плечо, обняла его. И он прижал ее к себе.

Это было так, как и должно было быть. И я страшно обрадовался, услышав, что вскоре мы отсюда сбежим, но на один-единственный вопрос я все же хотел бы получить ответ немедленно.

– А та девушка, – спросил я, – Вардан?

И почувствовал, как они оба посмотрели на меня. Ответили они не сразу, и я понял, что они переглядываются.

– Она еще совсем маленькая, – сказала моя мать. – И совсем не такая уж безобразная, – прибавила она, точно оправдываясь. – И у нее очень милая улыбка. Только она...

– Идиотка, – подсказал Канок.

– Нет, неправда! Это не настолько плохо, милый... Но... она... Она просто недоразвитая. Точно младенец. И по-моему, душа у нее тоже младенчески невинная. Правда, вряд ли она когда-нибудь станет старше...

– Нет, она идиотка, – упрямо повторил отец. – Драм предложил тебе в жены идиотку, Оррек!

– Канок! – предостерегающе прошептала мать, и я тоже испугался, такая свирепая ненависть звучала в голосе моего отца.

В дверь постучали. Отец пошел открывать. Я услышал какие-то тихие голоса, потом он вернулся, но уже без матери, и подошел ко мне, сидевшему на краешке кровати.

– Там эту девчонку, Вардан, прихватило, – сказал он. – Вот Даредан и пришла просить твою мать помочь. Меле молодец! Она тут со всеми подружилась, пока мы на свиней охотились да врагов себе наживали. – Отец устало усмехнулся, и я услышал, как скрипнуло кресло у камина, когда он плюхнулся в него. – Как бы мне хотелось сейчас быть отсюда подальше, Оррек!

– И мне тоже! – искренне сказал я.

– Ладно, ложись и немного поспи. А я подожду Меле.

Я тоже хотел подождать ее и даже уселся было с ним рядом, но он ласково подтолкнул меня к кровати, помог лечь и укрыл мягким теплым одеялом, и уже через минуту я спал как убитый.

Проснулся я внезапно и сразу почувствовал себя настолько бодрым, словно и вообще не спал. Было слышно, как петух в курятнике возвещает скорый рассвет. Впрочем, до рассвета вполне могло быть и довольно далеко. В комнате послышался легкий шорох, и я спросил:

– Отец, это ты?

– Оррек? Я тебя разбудила? Тут так темно, ничего не видно! – Мать ощупью пробралась к моей кровати и присела на краешек. – Ох, как я замерзла! – Она действительно вся дрожала, и я попытался накрыть ее своим теплым одеялом, но она накрыла им и меня.

– А отец где?

– Он сказал, что ему непременно нужно поговорить с Парн Барре, а потом, как только рассветет, мы уедем. Я сказала Денно и Даредан, что мы уедем. Они все правильно поняли. Я просто объяснила, что мы и так задержались здесь слишком долго и Канок беспокоится насчет весенней пахоты.

– А как там эта девочка?

– Теперь уже лучше. Она очень быстро устает, и у нее от этого бывают судороги. А ее мать каждый раз пугается, бедняжка. Она совершенно измучилась с этим ребенком, и я отослала ее наверх, чтобы она немного поспала, она явно недосыпает, а сама посидела с девочкой. А потом и я вроде бы тоже задремала, и... не знаю... отчего-то ужасно замерзла и никак не могу согреться... – Я обнял ее, и она прижалась ко мне. – Потом меня сменили другие женщины, и я вернулась сюда, а твой отец пошел искать Парн. Мне кажется, нам стоит собрать вещи. Хотя еще так темно... Знаешь, я там сидела и все ждала рассвета...

– Посиди еще немножко, согрейся, – сказал я. Так мы и сидели, согревая друг друга, пока не вернулся отец. Он зажег свечу, и мать торопливо сложила наши немногочисленные пожитки в седельную сумку. Потом мы осторожно прокрались по коридору, спустились по лестнице в вестибюль и вышли из дома. Я по запаху чувствовал, что в воздухе уже разливается рассвет, да и петухи орали так, что можно было оглохнуть. На конюшне сонный угрюмый парень помог нам оседлать коней. Мать вывела Чалую во двор и придержала ее, пока я садился в седло.

Потом она вернулась за Грейлагом, и вдруг я услышал, как она негромко, но горестно вскрикнула. Застучали копыта, и мать сказала:

– Ты только подумай, Канок!

– А! – раздраженно, с отвращением бросил он.

– Что там такое? – встревожился я.

– Цыплята, – почти шепотом пояснил мне отец. – Те самые, которых Меле везла в подарок. Люди Драма так и бросили корзину там, где твоя мать ее поставила. Просто бросили и ушли. Оставили цыплят умирать.

Он помог Меле сесть на Грейлага, затем вывел из конюшни Бранти. Тот сонный парень открыл нам ворота, и мы выехали со двора.

– Жаль, что нельзя пустить лошадей галопом! – сказал я. И мать, решив, что я именно это и намерен сделать, тут же всполошилась:

– Нет, милый, этого нельзя!

Но Канок, ехавший за нами следом, усмехнулся и сказал:

– Нельзя, но мы от них и шагом убежим.

Уже всю щебетали птицы, и мне все казалось, как моей матери ночью, что я вот-вот увижу свет зари.

Мы проехали уже несколько миль, когда она вдруг нарушила молчание:

– Глупо было привозить цыплят в такой дом!

– В какой «такой»? – переспросил отец. – В такой большой и богатый, ты хочешь сказать?
– Он хорош только в их собственных глазах! – сердито отрезала Меле Аулитта.

А я сказал:

– Отец, они ведь, наверное, скажут, что мы убежали!

– Да, конечно.

– Но тогда нам не надо было... не стоило...

– Если бы мы остались, Оррек, я бы его убил. И хотя мне очень хотелось прикончить этого негодяя в его же собственном доме, боюсь, мне слишком дорого пришлось бы заплатить за свой поступок. И он это прекрасно понимал. Но я все же доставлю себе небольшое удовольствие!

Я не понял, что он хотел этим сказать, да и мать, по-моему, тоже не поняла, но спрашивать мы не стали, а уже ближе к полудню услышали позади топот конских копыт и встревожились, но Канок сказал:

– Это Парн.

Парн нагнала нас, поздоровалась своим хрипловатым голосом, так сильно напоминавшим мне голос Грай, и спросила:

– Ну и где твои коровы, Канок?

– Вон под тем холмом, чуть дальше. – Мы еще немного проехали, потом остановились, и мы с матерью спешили. Она усадила меня на заросшем травой берегу ручья, взяла Грейлага и Чалую и подвела их к воде, чтоб напиться и немного остудили копыта. А Канок и Парн куда-то поехали, и вскоре их совсем не стало слышно.

– Куда это они? – спросил я.

– На то пастбище. Канок, должно быть, попросил Парн призвать наших телок.

Прошло не так уж много времени, но оно показалось мне вечностью, потому что я очень беспокоился и все прислушивался к звукам возможной погони, но, разумеется, ничего не было слышно, кроме птичьего пения и отдаленного мычания коров. И тут мать сказала:

– Они едут!

Вскоре я услышал шелест травы, приветственное пофыркивание Бранти и голос отца, который со смехом что-то рассказывал Парн.

– Канок? – окликнула его мать, и он тут же ответил ей:

– Все в порядке, Меле! Это наши телки. Драм позаботился о них, но теперь я забираю их домой. Так что все в порядке.

– Вот и хорошо, – сказала она совершенно несчастным голосом.

И вскоре мы снова двинулись в путь – впереди Меле, затем я, за мной Парн с двумя телками, неотступно следовавшими за нею, и, наконец, Канок, который вез наши пожитки. Молодые и бодрые коровы ничуть не замедляли нашего движения; эту породу скота раньше использовали для любых работ; на таких коровах и возили, и пахали, так что телки бежали резво и не отставали от лошадей. К середине дня мы пересекли северную границу наших земель, свернули и направились в сторону Роддманта. Парн предложила пока что отвести телок туда и оставить на одном из пастбищ вместе с их собственным стадом.

– Это будет не так вызывающе, – сказала она. – Да и Драм значительно труднее будет снова их выкрасть.

– Если только он специально не пошлет ради этого за тобой, – сказал Канок.

– Он-то, может, и пошлет, да только я больше не собираюсь иметь никаких дел с Огге Драмом. Если только он не захочет разжечь междоусобицу. Впрочем, тогда он получит сполна.

– Если он вздумает воевать с вами, то ему придется воевать и с нами! – заявил Канок с веселой яростью.

Я услышал, как мать прошептала: «Энну, услышь меня, приди!» Она всегда повторяла эти слова, когда была встревожена или напугана. Когда-то я спросил ее, кто такая эта Энну, и она рассказала мне, что это богиня, которая делает более гладкой дорогу для путников, благо-

словляет любой труд и улаживает всякие ссоры. Животным воплощением Энну была кошка, а опал, который Меле всегда носила на шее, считался камнем этой богини.

К тому времени как спина моя перестала ощущать тепло клонившегося к закату солнца, мы подъехали к Каменному Дому Роддманта. Но лай собак я услышал задолго до этого. Огромная стая собак собралась вокруг нас, но лошадей они не пугали, напротив, все они радостно нас приветствовали. Тернок с крыльца тоже что-то громко кричал, а потом кто-то подошел ко мне – я по-прежнему сидел на Чалой – и тронул за ногу. Это была Грай. И вдруг она прижалась лицом к моей ноге.

– Ну-ну, Грай, дай же Орреку слезть с лошади, – суховато-ласково сказала ей Парн. – Подай ему лучше руку.

– Не нужно, я сам! – Я вполне удачно спешил и обнаружил, что теперь Грай схватила меня уже за руку, прижалась к ней лицом и плачет.

– Ох, Оррек! – приговаривала она. – Ох, Оррек!

– Да что ты, Грай, все хорошо! Правда! Это не... Я не...

– Я знаю, – сказала она, выпуская мою руку и несколько раз горестно шмыгнув носом. – Здравствуй, мама. Здравствуй, брантор Канок. Здравствуй, Меле, дорогая моя. – И я услышал, как они с Меле обнимаются и целуются. Потом Грай снова вернулась ко мне.

– Парн говорит, у тебя какая-то собака есть, – неуклюже начал я, ибо гибель бедного Хамнеды все еще тяжким грузом давила мне на душу – не только его смерть, но и то, что я сам его тогда выбрал, хотя Грай предупреждала меня, что выбор я сделал неправильный.

– Есть. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?

– Очень хочу!

– Пошли.

Она куда-то повела меня – даже этот дом, который я знал почти так же хорошо, как родной, показался мне лабиринтом, полным тайн, из-за черной повязки у меня на глазах.

– Подожди минутку, – сказала Грай, и вскоре я услышал: – Сидеть, Коули! Коули, это Оррек. Оррек, это Коули.

Я присел на корточки. Протянул руку и почувствовал на ладони теплое дыхание, деликатное прикосновение усатой морды и языка, тут же вылизавшего мне все пальцы. Я осторожно провел перед собой рукой, опасаясь попасть пальцем собаке в глаз или испугать ее каким-нибудь неверным движением, но собака сидела смирно. Я погладил ее и ощутил под рукой шелковистую, густую, курчавую шерсть и настороженно приподнятые мягкие уши.

– Это черная овчарка? – шепотом, точно замороженный, спросил я.

– Да. У Кинни сука прошлой весной принесла троих щенков. Коули оказалась самой лучшей и быстро стала любимицей всей детворы. А Кинни уже начал ее учить как пастушью собаку. Но я, услышав про твои глаза, выпросила ее у него. Вот, держи. Это ее поводок. – Грай сунула мне в руку конец жесткого кожаного поводка. – Пройдись с ней, – велела она.

Я встал и почувствовал, что собака тоже встала. Я сделал шаг и обнаружил, что собака преградила мне путь и не желает сходить с места. Я рассмеялся, но был несколько озадачен.

– Так мы далеко не уйдем!

– Между прочим, если бы ты сделал еще шаг, то непременно споткнулся бы о бревно, которое там оставил Фанно. Пусть Коули сама тебя ведет, ты не бойся.

– А мне что делать?

– Просто скажи: «Идем, Коули!»

– Идем, Коули! – повторил я послушно, сжимая в руке кожаный поводок.

Поводок мягко потянул меня вправо и вперед. И я смело пошел за Коули, пока поводок не замер, предлагая мне остановиться.

– Идем назад, Коули, идем к Грай, – сказал я собаке, и она тут же повернула назад и вскоре остановилась.

– Я здесь, – сказала Грай. Она стояла прямо передо мной, и голос ее прозвучал непривычно резко.

Я опустился на колени к сидевшей на земле собаке и обнял ее. Шелковистое ухо коснулось моего лица, усы щекотали нос. «Коули, Коули», – нежно приговаривал я.

– С ней я почти не пользовалась своим даром, только в самом начале раза два, – сказала Грай. Судя по всему, она тоже присела на корточки рядом со мной. – Она очень быстро все схватывала. Она просто умница! И очень спокойная. Но вам нужно еще немного поработать вместе.

– Так мне лучше оставить ее здесь, а потом приехать за ней?

– Не думаю. Я просто могу сказать, чего тебе делать не стоит. И постарайся не требовать от нее сразу слишком много. А потом я всегда могу заехать и поработать с вами обоими. Я с удовольствием приеду.

– Это было бы здорово, – сказал я. После страстей и жестокостей Драмманта, после всего, что мне довелось там пережить, чистая любовь и доброта Грай, спокойное и доверительное отношение ко мне Коули оказались для меня чересчур сильным испытанием. Скрывая волнение, я спрятал лицо в курчавую шелковистую шерсть и сказал с чувством: – Хорошая собака!

Глава 12

Когда мы с Грай наконец пошли к ним в дом, я с ужасом узнал, что моя мать, слезая с коня, потеряла сознание и упала – хорошо еще прямо отцу на руки. Ее отнесли наверх и уложили в постель. Мы с Грай крутились поблизости, чувствуя себя маленькими и беспомощными, – как обычно чувствуют себя подростки, когда в семье заболевает кто-то из взрослых. Наконец Канок сошел вниз. Он подошел прямо ко мне и сказал:

– Она поправится.

– Может быть, она просто устала? – предположил я.

Он замешкался с ответом, и тут вдруг Грай спросила:

– А ребеночка она не потеряла?

Это было частью дара Грай – знать, что в одном теле одновременно существуют две жизни. Наш дар, например, таких преимуществ не давал. Я уверен, что Канок до этой минуты понятия не имел, что Меле беременна; возможно, она и сама этого еще не знала.

Меня эта новость не слишком взволновала. Мальчишка в тринадцать лет обычно довольно далек от этой стороны жизни; беременность и рождение ребенка – для него весьма абстрактные вещи, не имеющие к нему самому никакого отношения.

– Нет, – сказал Канок. Помолчал, словно колеблясь, и прибавил: – Ей просто нужно отдохнуть.

Но его усталый, какой-то безжизненный голос встревожил меня. Мне хотелось хоть немного развеселить его. Меня уже тошнило от мрака, царившего в Драмманте. Но теперь-то мы были избавлены от этого страха и мрака, мы снова были свободны, окружены друзьями, и в Роддманте нам ничто не грозило.

– Если с мамой пока все в порядке, ты не хотел бы взглянуть на Коули? – предложил я отцу.

– Позже, – сказал он, ласково коснулся моего плеча и вышел с озабоченным лицом. А Грай повела меня на кухню, потому что в этой суе не вспомнил об ужине, а я просто умирал от голода. Нас до отвала накормили пирогом с крольчатинной. И Грай сказала, что на меня просто невозможно смотреть, потому что я всю физиономию перепачкал начинкой, а я ответил: пусть сама попробует есть то, чего не видит, а она сказала, что уже пробовала; оказывается, она на целый день завязала себе глаза, чтобы понять, каково приходится мне. Когда мы поели, Грай предложила немного пройтись. Было уже темно, но в небе светил месяц, и дорогу Грай видела вполне прилично, но все равно сказала, что я и Коули передвигаемся в темноте даже лучше, чем она, и, словно в доказательство, тут же споткнулась о корень и упала.

Когда еще в детстве мы с Грай вместе играли в Роддманте, то часто засыпали там, где нас сморит сон, как всякие детеныши; но с тех пор между нами встали все эти разговоры о помолвках и прочих подобных вещах. Так что мы вернулись домой, как взрослые, сказали друг другу «спокойной ночи», и Тернок проводил меня в комнату родителей. В Роддманте не имелось такого количества свободных комнат, как в Драмманте. Да и кроватей было маловато. Тернок шепнул мне, что Меле уснула, а отец устроился возле нее в кресле и, кажется, тоже задремал. Он дал мне одеяло, и я без лишних слов завернулся в него, улегся на полу и тут же уснул.

Утром моя мать первым делом заявила, что чувствует себя вполне хорошо, просто вчера она, видно, немножко простудилась, вот и все. А теперь она готова ехать домой.

– Только не верхом, – сказал Канок, и Парн поддержала его. Тернок предложил нам тележку, на которой обычно возят сено, и лошадь – дочь той самой вислогубой кобылы, на которой он вместе с Каноком ездил совершать налет на Дьюнет. Так что Меле и мы с Коули погрузились в тележку и ехали в Каспромонт со всеми удобствами – на коврике, постеленном

поверх лежавшей на дне соломы. Канок ехал на Бранти, а Грейлаг и Чалая с удовольствием бежали сзади налегке. Все были счастливы наконец вернуться домой.

Коули, похоже, вполне смирилась с тем, что ей придется сменить не только дом, но и хозяина, и вела себя удивительно спокойно, хотя сперва ей пришлось немало потрудиться, изучая и обнюхивая новый дом и метя каждый куст и камень возле него. Она вежливо поздоровалась с нашими немногочисленными старыми гончими, но старалась держаться от них в стороне. Пастушья природа не позволяла ей быть такой фамиллярной и демократичной, как наши домашние собаки, и требовала от нее сдержанности и настороженности. Коули была чем-то похожа на моего отца: она очень ответственно относилась к своим обязанностям, главной из которых была забота обо мне.

Грай вскоре приехала к нам, чтобы продолжить занятия с Коули, а потом стала приезжать каждые несколько дней. Она ездила верхом на молодом жеребце по кличке Блейз, принадлежавшем семье Барре из Кордеманта. Они попросили Парн «обломать» его, и Парн заодно учила искусству «обламывать» лошадей и свою дочь. Обладающие даром призывать используют именно это слово, «обламывать», хотя оно, по-моему, совсем не соответствует тому, как они приучают молодого коня слушаться наездника. Они ничуть не ломают его, скорее наоборот – чем-то дополняют его характер, делают его более целостным. Этот процесс длительный. Грай объяснила мне его так: мы просим лошадь делать такие вещи, которые она по своей природе делать не умеет и не хочет; но лошадь не настолько подчиняется нашей воле, как, скажем, собака, поскольку лошадь привыкла бегать на свободе, не является, в отличие от собаки, стайным животным и любой строгой иерархии предпочитает некий договор. Собака безоговорочно принимает условия, предложенные человеком, а лошадь на них соглашается. Все это мы с Грай обсуждали и во время уроков, когда мы с Коули учились лучше понимать друг друга, и во время прогулок верхом, когда Грай и Блейз учились выполнять свои обязанности по отношению друг к другу, а я ехал рядом с ними на Чалой, которая давным-давно уже выучила все, что ей нужно было знать, и понимала меня без слов. Коули, спущенная с поводка, бегала рядом, празднуя свободу и имея полную возможность вынюхивать, отслеживать и вспугивать кроликов и совершенно не беспокоиться обо мне. Но стоило мне произнести ее имя – и она была тут как тут.

Коули и Грай привнесли в мою жизнь столько нового, что я помню это первое лето, проведенное мной в темноте, как очень яркое и светлое. После стольких неприятностей и потрясений, после ужаса и мучительных сомнений относительно своего дара я наконец обрел покой. Теперь, когда глаза мои были запечатаны, у меня не было возможности использовать этот дар, угрожая другим, и не нужно было ни мучиться самому, ни ощущать укор и опасения других людей. Когда кошмар пребывания в Драмманте остался позади, я прямо-таки наслаждался обществом родных людей. И тот священный ужас, который я вызывал у некоторых деревенских простаков, служил мне некоторой компенсацией за мою беспомощность – хотя я в этом старался себе и не признаваться. Когда приходится ощупью, спотыкаясь, пробираться по дому или двору, порой даже приятно услышать чей-то шепот: «А вдруг он возьмет да и снимет свою повязку? Я ж от страха умру!»

Моя мать довольно долго плохо себя чувствовала после нашего возвращения из Драмманта и в основном лежала в постели. Потом потихоньку начала вставать и заниматься хозяйством; но однажды вечером за ужином я услышал, как она вдруг вскочила из-за стола, что-то испуганно сказала отцу, возникла какая-то суета, и они с отцом тут же ушли, а я остался сидеть за столом, расстроенный и смущенный. Мне пришлось спросить служанок, что случилось. Сперва никто не хотел мне говорить, но потом одна девушка сказала: «Ох, у нее кровотечение началось, юбка прямо насквозь промокла!» Я пришел в ужас и долго сидел в зале у камина, окутанный каким-то тупым одиночеством. Там меня и нашел отец. И сказал, что у

матери случился выкидыш и теперь ей уже немного лучше. Он говорил спокойно, и я тоже отчасти успокоился. Теперь я цеплялся за любую надежду.

На следующий день верхом на Блейзе примчалась Грай. Мы пошли наверх провести Меле. Она лежала в своей маленькой гостиной, где имелась довольно удобная кушетка и всегда было значительно теплее, чем в спальне. В камине горел огонь, хотя на дворе стояло лето, и Меле куталась в самую теплую свою шаль – я почувствовал это, когда она меня обняла. Голос ее звучал немножко хрипло и очень тихо, но в нем, как и всегда, чудилась легкая улыбка, когда она спросила:

– А где же Коули? Мне бы хотелось, чтоб и она меня навестила.

Коули, разумеется, была тут же, в комнате, поскольку мы с ней теперь были неразлучны. Ее пригласили прыгнуть на кровать, где она и улеглась, обратившись в слух и явно уверенная, что моей матери абсолютно необходима сторожевая собака. Мать спросила, как наши успехи, а также поинтересовалась успехами Грай в «обламывании» Блейза, и мы, как водится, проболтали довольно долго. Но потом Грай решительно встала, взяла меня за руку, хотя я еще и не собирался уходить, и сказала, что нам пора. Она поцеловала Меле на прощание и тихо шепнула ей:

– Мне очень жаль, что ты потеряла ребеночка.

– Ничего, у меня есть вы оба, – шепнула ей в ответ моя мать.

Отец с рассвета до позднего вечера был занят всякими делами в поместье. Я ведь раньше оказывал ему посильную помощь, а теперь стал совершенно бесполезным, и мое место рядом с ним занял Аллок. Аллок был человеком на редкость чистосердечным, не обремененным ни амбициями, ни претензиями; себя он считал глуповатым, и кое-кто охотно с ним соглашался; но он умел порой, соображая, в общем, действительно довольно медленно, мгновенно уловить суть дела, да и суждения его в целом были очень даже разумными. Они с Канокотом отлично сработались, и Аллок стал для него тем, кем я стать не сумел. Я и завидовал, и ревновал, но старался не показывать, насколько уязвлено мое чувство собственного достоинства: это могло обидеть Аллока и рассердить отца, а мне все равно легче от этого не стало бы.

Когда мои бесполезность и беспомощность становились особенно угнетающими, а внутренняя решимость ослабевала, мне ужасно хотелось сорвать с глаз повязку и вернуть себе все утраченное богатство жизни. Но передо мной тут же вставал образ отца, и я снова вспоминал, что представляю собой смертельную опасность для Меле, для Канокоты и для всех остальных. С завязанными глазами я служил Канокоте щитом и опорой; он пользовался моей вынужденной слепотой как оружием.

Он редко говорил со мной о той поездке в Драммант, хоть и признался, что Отге Драм испугал тогда не только меня, но и его. Он, впрочем, заверил меня, что жестокие шутки Отге и его издевательства – это сущий блеф, желание показать свою силу и власть перед подчиненными.

– Больше всего ему хотелось тогда прогнать нас, – говорил отец. – Хотя он прямо-таки мечтал испытать тебя, и все же каждый раз, уже собравшись заставить тебя силой, отступал, не решался. И меня он тоже задевать не решался – потому что боялся тебя.

– Но та девочка... Вардан... Ведь он и ее использовал, чтобы унижить нас!

– Он решил сделать это давно, еще до того, как все мы узнали о твоём «диком даре». И угодил в собственную ловушку. Так что ему пришлось пройти через откровенное унижение, но показать, что он нас не боится. Только он боится нас, Оррек, очень боится!

Две наши телки давно уже снова вернулись в Каспроммант и паслись вместе со всем стадом на верхних пастбищах, довольно далеко от границы с Драммантом. Отге Драм ни слова о них не сказал и никаких шагов против нас или Роддманта не предпринял.

– Я предложил ему выход, и он им воспользовался, – сказал Канокот с усмешкой. Я чувствовал, что теперь он почти не улыбался, хотя со мной и с Меле был неизменно нежен и вни-

мателен. Но с нами он проводил очень мало времени – вечно был занят, возвращался домой страшно усталым, едва держась на ногах, и старался поскорее лечь спать.

Меле медленно набиралась сил. В голосе за время болезни появилась какая-то несвойственная ей раньше покорность, которую я ненавидел. Мне хотелось по-прежнему слышать ее звонкий смех, ее быстрые легкие шаги. Она теперь уже ходила по дому, но очень быстро уставала, а если случался дождливый денек или дул северный ветер со стороны земель Каррантагов, отчего любой летний вечер становился по-осеннему холодным, она приказывала растопить в своей гостиной камин и сидела у огня, закутавшись в толстую шаль из некрашеной коричневой шерсти, которую связала для нее еще моя бабушка, мать Канок. Однажды, сидя с нею рядом, я сказал, не подумавши:

– Ты все время мерзнешь с тех пор, как мы вернулись из Драмманта.

– Да, – откликнулась она. – Мерзну. С той самой ночи, когда я дежурила у постели больной девочки. Тогда вообще произошло что-то странное... По-моему, я никогда еще не рассказывала тебе об этом? Я помню, что Денно пошла вниз, чтобы разнять подравшихся сыновей. А несчастная Даредан была так измучена, что я предложила ей немного поспать, пока я посижу с Вардан. Малышка тоже уснула, но могла проснуться в любую минуту, если возобновятся те судороги. Она и так все время вздрагивала, так что я притушила все свечи, кроме одной, которую отставила подальше, чтобы ей не мешал свет, и, по-моему, тоже задремала с нею рядышком. А через некоторое время меня разбудил какой-то странный шепот, а может, пение. Что-то вроде молитвы. Мне спросонок даже показалось, что я снова в родном доме, в Деррисе, и отец молится внизу, готовясь идти в храм. И это монотонное бормотание продолжалось очень долго, и только когда оно совсем затихло, я поняла, что нахожусь совсем не дома, а в Драмманте, и огонь в камине почти догорел, и мне ужасно холодно, так холодно, что я даже пошевелиться не могу. Холод пробирал меня до костей. И девочка Вардан лежала совершенно неподвижно, как мертвая. Это совсем напугало меня, и я вскочила, чтобы посмотреть, жива ли она, но она была жива и дышала спокойно. И тут как раз вошла Денно, подала мне свечу и сказала, что теперь я могу пойти отдохнуть. И я пошла, но Канок нужно было еще разыскать Парн, и, когда он вышел из комнаты, мою свечу загасил сквозняк, а огонь в камине уже не горел. И я на что-то налетела в темноте, ты проснулся, и мы долго сидели с тобой, и я никак не могла согреться. Ты, наверно, и сам помнишь. И все время, пока мы ехали домой, мои руки и ноги были точно ледышки. Ах, как бы мне хотелось, чтобы этой поездки в Драммант никогда не было!

– Я их всех ненавижу! – вырвалось у меня.

– Тамошние женщины были ко мне добры, – возразила она.

– Отец говорит, что Огге очень нас боялся.

– Что ж, я тоже его очень боялась, – призналась Меле, слегка вздрогнув при воспоминании о Драмманте.

Когда я рассказал об этом Грай – ибо я рассказывал Грай все, если не считать того, что скрывал даже от самого себя, – я спросил ее о том, о чем не хотел спрашивать у матери: могли ли Огге Драм пробраться тайком в ту комнату, где была она с больной девочкой? Отец говорил мне, что Драм для применения своего дара нужны еще какие-то особые слова, какие-то магические заклинания, руки и глаз ему мало. Возможно, то, что слышала Меле...

Но Грай мои предположения совсем не понравились, и она стала горячо возражать:

– Но с какой стати Драм стал бы применять свой дар против Меле? Он ведь боялся не ее, а тебя и Канок. А Меле не могла причинить ему ни малейшего вреда.

А я вдруг вспомнил, как Канок говорил матери: «Надень свое красное платье, пусть он увидит тот подарок, что сделал мне». Вот где крылась беда! Но я вряд ли сумел бы выразить свои чувства словами. Так что я сказал Грай лишь одно:

– Он всех нас ненавидит!

– А Меле рассказывала твоему отцу о той ночи? – спросила Грай.

– Не знаю. Может, она считает это несущественным и не хочет зря его беспокоить... Понимаешь, она ведь... старается не думать о наших дарах, она говорит, что не понимает их. Я, например, не знаю даже, что она теперь думает обо мне и о моем «диком даре». Она, по-моему, понимает, зачем мне завязали глаза, но вряд ли верит... – Я умолк, чувствуя, что ступил на опасную почву. Наклонившись, я машинально погладил Коули по теплой спине – собака, как и всегда, лежала на полу у моих ног. Но даже Коули не могла служить мне поводырем в той тьме, которая теперь окутывала меня со всех сторон.

– Я думаю, тебе стоит все же рассказать об этом Канок, – сказала Грай.

– Лучше бы это сделала сама Меле.

– Но мне же ты рассказал!

– Но ты же не Канок! – Я сказал это как нечто само собой разумеющееся, хотя в моих словах был и иной, скрытый смысл. И Грай это отлично понимала.

– Я спрошу Парн, нет ли таких людей, которые могут как-то бороться... с последствиями дара Драм, – сказала она.

– Нет, не надо! – Одно дело рассказать Грай, но совсем другое – если эта история пойдет дальше и превратится в сплетню; тогда получится, что я предал собственную мать, которая доверилась мне.

– Но я не скажу ей, зачем мне это надо.

– Парн сама догадается.

– Между прочим, она, похоже, уже догадывается. Когда вы в тот вечер приехали к нам и Меле упала в обморок, я слышала, как мать говорила отцу: «Возможно, он все-таки ее коснулся». Я тогда не поняла, что она имела в виду. И подумала, что, может быть, Огге пытался изнасиловать Меле и как-то ей навредил.

Мы сидели молча, погружившись в мрачные раздумья. Мысль о том, что Огге Драм наслал на мою мать проклятие, была ужасной, но настолько неясной и неправдоподобной, что с ней трудно было смириться. Мой разум невольно пытался ускользнуть от мысли об этом, переключаясь на другие вещи.

– Кстати, Парн больше не заговаривала со мной об Аннрене Барре, после того как побывала в Драмманте вместе с вами, – сказала вдруг Грай.

– Они там, в Кордеманте, все еще ссорятся. Раддо говорил, что там между родными братьями идет настоящая война. Они поселились в противоположных концах своих владений и боятся приближаться друг к другу на такое расстояние, когда человека можно увидеть невооруженным глазом, – боятся ослепнуть или оглохнуть.

– А мой отец считает, что ни один из братьев не обладает этим даром в полной мере, – сказала Грай, – зато им обладает их сестрица Нанно. И она пообещала, если они будут продолжать ссориться, сделать их обоих немыми, чтоб наконец перестали проклинять друг друга. – Грай засмеялась, и я тоже. Отчего-то столь жестокое решение семейной распри казалось нам смешным. Но мне явно полегчало, ведь, судя по всему, вопрос о помолвке Грай и этого парня из Кордеманта был надолго отложен.

– Мать говорит, что «дикий дар» – это чаще всего просто очень сильный дар. И человеку нужны годы, чтобы научиться как следует владеть им. – Голос Грай звучал чуть хрипловато, как всегда, когда она говорила о чем-то важном.

Я не ответил. Ответа и не требовалось. Если Парн хотела сказать, что верит в силу моего дара и в то, что он со временем будет полностью мне подвластен, значит она считает, что со временем я буду вполне под стать Грай. Этого для меня было более чем достаточно.

– Давай съездим на ту тропу над Рябиновым ручьем, – предложил я вдруг и вскочил. Сидеть и разговаривать было, конечно, очень приятно, но выбраться наружу и куда-то скакать было бы еще лучше. В данный момент я был полон надежд и сил – ведь мудрая Парн Барре

сказала, что когда-нибудь я смогу снова видеть, как все, и, возможно, смогу жениться на Грай и даже убить Огге Драма одним лишь своим взглядом, если он, конечно, осмелится приблизиться к границам наших владений...

Мы ехали вдоль Рябинового ручья. Я попросил Грай сказать мне, когда мы окажемся возле того изуродованного участка холма. Коули бежала впереди. И когда Грай окликнула ее, она тут же прибежала, жалобно поскуливая, что было очень странно, потому что Коули обычно вообще молчала.

– Коули здесь что-то не нравится, – заметила Грай.

Я попросил ее описать, как выглядит склон холма. Трава на нем понемногу отрастала, но пейзаж был, видимо, не слишком приятный.

– Трава вся какая-то спутанная, – сказала Грай. – И повсюду какие-то ямки, и пыли очень много. Какое-то все бесформенное...

– Ну да, хаос.

– Что такое «хаос»?

– Это из одной истории, которую мне мать рассказывала, – о начале нашего мира. Сперва повсюду летали или плавали, как тебе больше нравится, всякие непонятные кусочки, и ни один из них не имел ни определенной формы, ни четких очертаний. Это были просто кусочки, крошки, пузырьки – даже не камни или земля, а просто всякая ерундовая мелочь. Совершенно бесцветная. И не было еще ни земли, ни неба, ни верха, ни низа, ни юга, ни севера. И ни в чем не было смысла. И не было направления. Ничто не было ни с чем соединено, ничто не имело отношения ни к чему другому. И было не темно и не светло. Так, нечто среднее. Хаос.

– А что случилось потом?

– Ничего никогда бы и не случилось, если бы эти кусочки неизвестно чего не начали понемногу соединяться. То тут, то там эта бесформенная чепуха стала обретать форму. Сперва появились комки земли. Потом камни. И камни стучались друг о друга, высекая искры, или растворялись один в другом и становились текучими, как вода. И эти огонь и вода встречались, и возникали потоки – реки, туман, воздух. И этим воздухом смог дышать сам Высший Дух. И этот Дух, вдохнув воздуха, собрал себя воедино и заговорил. И назвал все то, что должно было появиться вокруг. Он дал имена земле, огню, воде и воздуху, и его пение сделало сущими все живые существа. Все обрело свою форму – горы и реки, деревья и животные. И люди. Но сам Высший Дух никакой формы не принял и не дал себе никакого имени, потому что хотел остаться вездесущим, присутствовать одновременно всюду и во всем, во всех вещах и связях между вещами. И когда под конец вновь будут разрушены все связи и вернется хаос, Высший Дух по-прежнему будет существовать, и в итоге победит хаос, как и в начале времен.

Помолчав, Грай спросила:

– Но ведь тогда Дух не сможет дышать, верно?

– Не сможет, пока все не начнется сначала.

Расширяя границы рассказанной мне матерью истории, придумывая все новые детали в поисках ответа на вопросы Грай, я отошел весьма далеко от этого сюжета. Я часто так делал. Мне эта история ничуть не казалась чем-то священным; точнее, все эти истории были для меня священны, ибо все эти чудесные образы – во всяком случае, пока я слушал рассказ о них или рассказывал сам – создавали некий мир, в котором я всегда был зрячим, способным действовать по своему усмотрению; это был мир, который я знал и понимал, который имел свои собственные законы, но все же в определенной степени подчинялся мне – в отличие от настоящего мира, над которым я никакой власти не имел. В скуке и бездействии, порожденных моей вынужденной слепотой, я все чаще существовал внутри этих вымышленных историй, вспоминая их сам и прося мать снова и снова рассказывать их мне, а потом развивая тот или иной сюжет самостоятельно и с помощью слов заставляя его существовать, как это делал Великий Дух во время своей борьбы с хаосом.

– Твой дар очень силен! – услышал я хрипловатый голос Грай.

И вспомнил, где мы находимся. И мне стало стыдно за то, что я привел ее сюда, – я словно хвастался перед ней своей силой, и все же что-то ведь заставило меня привести ее сюда... Но что?

– А то деревце? – спросил я вдруг. – Там была маленькая рябинка... – И тут меня провало: – Понимаешь, я ведь тогда решил, что это мой отец! Я думал, что я... Я ведь даже не знал, на что именно смотрю...

Больше я ничего не мог сказать. Я тронул поводья Чалой, и мы покинули изуродованный берег ручья. Какое-то время мы ехали молча, а потом Грай сказала:

– Там все снова начинает расти, Оррек. И трава, и цветы. Мне кажется, Высший Дух не покинул этого места.

Глава 13

Осень, как и лето, прошла без особых событий и происшествий. До нас доносились слухи, что за эти месяцы ссора, начатая брантором Огге и его старшим сыном Харбой во время кабаньей охоты, переросла в настоящую вражду. Харба забрал свою жену и людей и перебрался в Риммант, а Себб, младший сын брантора, по-прежнему живет в Драмманте, и все относятся к нему как к наследнику и будущему брантору. Но дочь Себба и Даредан, Вардан, все лето болела и, видимо, постепенно угасает; у нее то и дело случаются припадки и судороги, а тот слабенький разум, что достался ей от рождения, почти совсем ею утрачен. Все это нам рассказала жена одного странствующего кузнеца. Такие люди – великие сплетники, однако приносят своеобразную пользу, сообщая о том, что творится в разных концах Верхних Земель. И мы жадно слушали ее, хотя мне было противно, что эта женщина смакует подробности недуга, поразившего несчастную Вардан. В какой-то степени я и себя чувствовал ответственным за страдания бедняжки.

И при мысли об этом передо мной тут же возникало лицо Огге Драма, обрюзгшее, с набрякшими веками и взглядом гадюки.

Осенью Грай не могла слишком часто навещать меня – всю шла уборка урожая, и в хозяйстве каждые руки были на счету. Да и нас с Коули учить больше не требовалось: мы теперь были, как говорила Меле, «шестиногим мальчиком с необычайно острым чутьем».

Но когда наступил октябрь, Грай стала приезжать к нам на целый день, и, после того как мы с Коули показывали ей свои последние достижения, мы подолгу сидели, беседовали обо всем на свете. Мы обсуждали распри в Кордемманте и Драмманте и вполне разумно заключали, что пока семьи тамошних правителей заняты междоусобицами, они вряд ли станут вторгаться на чужую территорию или засылать в чужие владения своих воров. Как-то раз я спросил Грай о Вардан, и она сказала, что, по слухам, девочка при смерти.

– А что, если это Огге? – принялся я размышлять вслух. – В ту самую ночь, когда моя мать сидела возле ее постели... Ведь Огге мог использовать свою силу и против девочки, правда?

– Ты хочешь сказать, что его интересовала вовсе не Меле?

– Может, и нет. – Эта спасительная мысль возникла у меня некоторое время назад и казалась мне вполне приемлемой, однако, высказанная вслух, она вызывала гораздо больше сомнений.

– С какой стати ему применять свой дар изнурения к собственной внучке?

– Потому что он ее стыдился! Он хотел, чтобы она умерла! Она ведь была... – В ушах моих вновь прозвучал тот невнятный слабый голосок: «Живаешь поживаешь по». – Она была идиоткой! – резко сказал я. И вспомнил о собаке по кличке Хамнеда.

Грай промолчала, хотя мне казалось, что она хочет что-то сказать. Видно, передумала.

– Мама в последнее время чувствует себя гораздо лучше, – сказал я. – Она даже прогулялась до Маленькой ложины вместе с Коули и со мной.

– Это хорошо. – Грай не стала говорить, а мне не хотелось и думать об этом, что всего полгода назад такая прогулка была Меле нипочем; тогда она запросто ходила со мной и на верхние холмы, и к роднику и возвращалась домой, весело напевая. И все-таки от мыслей об этом некуда было деться, и я сказал:

– Скажи, как она выглядит.

Это был один из тех моих приказов или просьб, которые Грай исполняла всегда и безоговорочно; это означало, что я прошу ее быть моими глазами, и она изо всех сил старалась видеть все для меня как можно лучше.

– Она очень похудела, – честно призналась Грай.

Но об этом я уже догадался по тому, какими тонкими стали запястья Меле.

– И выглядит немного печальной, – продолжала Грай. – Но все такая же красивая.

– А больной она не выглядит?

– Нет. Только худенькая очень. И кажется немного усталой. Потерять ребенка...

Я кивнул. Помолчав, я сказал:

– Знаешь, она рассказывала мне одну длинную историю... Это часть истории о герое древности Хамнеде. Точнее, о его друге Омнане, который сошел с ума и пытался убить Хамнеду. Если хочешь, я могу пересказать ее тебе.

– Конечно хочу! – радостно воскликнула Грай, и я сразу понял, что она усаживается поудобнее, готовясь слушать. Я погладил Коули по спине, и рука моя так и осталась лежать там – мне приятно было это прикосновение к мягкой шерсти; оно словно служило мне якорем в невидимом реальном мире, не дающем насовсем улететь в яркий и живой мир сказок и легенд.

Ничто из тех слов, которые мы произносили, говоря о моей матери, не казалось уж очень ужасным или безнадежным, и все равно всем было ясно, что она больна и лучше ей не становится. Ей с каждым днем становилось все хуже, и все понимали это.

Понимала это и моя мать. Она казалась немного растерянной, сбитой с толку, но держалась хорошо. Она очень старалась выздороветь. Она не могла и не хотела верить в то, что не в силах делать самую обычную свою работу по дому или хотя бы половину этой работы. «Ну до чего глупо!» – огорченно восклицала она в таких случаях, и это была самая большая жалоба, которая когда-либо срывалась с ее губ.

Отец тоже все понимал. По мере того как дни становились короче, а работы в полях и на пастбищах было все меньше, он старался больше времени проводить дома и поневоле видел, как Меле с каждым днем все больше слабеет, как быстро она устает, как мало ест, как сильно она похудела. Порой единственное, на что у нее хватало сил, – это, дрожа от озноба, сидеть у камина в своей коричневой шали и дремать.

– Я поправлюсь, когда снова станет тепло, – уверяла она всех, и Канок подбрасывал в камин дров и все искал, как бы еще услужить ей. Он готов был сделать для нее все что угодно.

– Что мне принести тебе, Меле? – Я не мог видеть лица Канока, но слышал его голос, и в голосе этом звучала такая нежность, что я внутренне скулил от боли.

Повязка, делавшая меня слепым, и болезнь моей матери давали нам обоим только одно преимущество: теперь у нас было более чем достаточно времени, чтобы с чистой совестью предаваться любимому занятию – рассказыванию историй. Эти истории спасали нас от того темного холодного и ужасно скучного мира, где мы с ней казались слабыми и бесполезными. У Меле была чудесная память, и стоило ей как следует в ней порыться – и она тут же находила какую-нибудь увлекательную историю, которую либо когда-то слышала, либо прочитала в книге. Если она не помнила ее всю целиком, то, как и я, запросто сама дополняла ее или домысливала, даже если это была история из какой-нибудь священной книги, ибо кого тут могли возмутить подобные вольности, кто мог назвать это ересью? Я сказал ей, что она как колодец: стоит опустить ведро – и поднимаешь его наверх, полное всяких историй. Ее насмешило мое детское сравнение, и она вдруг сказала мечтательно:

– А знаешь, я бы хотела записать кое-что из того, что ты зачерпываешь своим «ведром».

Сам я, конечно, не мог приготовить для нее должным образом ни ткань, ни чернила, но я рассказал Рэб и Соссо, двум нашим молодым служанкам, как это сделать, и они с радостью согласились помочь мне: им очень хотелось доставить Меле удовольствие.

Обе эти женщины по отцу были из рода Каспро, но их отцы – ни тот ни другой – фамильным даром не обладали. В доме среди слуг они занимали, можно сказать, привилегированное положение, полученное ими по наследству от матерей. Их матери вместе с Меле с детства учили девушек вести дом. Когда Меле заболела, Рэб и Соссо полностью взяли на себя домашнее хозяйство и делали все в полном соответствии с ее правилами, постоянно придумывая для своей хозяйки всякие приятные мелочи и стараясь по возможности облегчить ее нынешнее

печальное существование. Обе они были очень хорошие – добрые, душевные, энергичные. Рэб была помолвлена с Аллоком и собиралась за него замуж, хотя ни он, ни она с этим, похоже, не спешили. Соссо же заявила, что мужчин под ногами и так слишком много болтается, чтобы еще замуж спешить.

Они научились растягивать полотно и замешивать чернила, а Канок сделал нечто вроде переносного столика, и теперь Меле могла писать даже в кровати. Она записывала все, что могла вспомнить, в том числе и из тех священных текстов и песнопений, которые учила наизусть в детстве. Иногда она писала по два-три часа подряд. Она никогда не говорила, почему ей вдруг захотелось все это записать. Она ни разу не сказала, что пишет для меня, что когда-нибудь я смогу все это прочесть. Она ни словом не намекнула, что пишет потому, что скоро ее, возможно, уже не будет с нами и тогда она не сможет больше ничего нам рассказать. А когда Канок, беспокоясь о ней, слегка пожурил ее за то, что она тратит столько сил на свою «писанину», она сказала ему:

– Знаешь, эта «писанина» дает мне ощущение, что все прочитанное и услышанное мною в детстве и юности не пропадет даром, что в этом был все же какой-то смысл. Когда я записываю то, что мне удастся вспомнить, я всегда размышляю об этом.

Итак, по утрам Меле писала, а днем отдыхала. К вечеру к ней приходили мы с Коули, а часто заглядывал и Канок. Она рассказывала нам очередную историю о героях древности, которую не успела дорассказать накануне, или что-нибудь о тех временах, «когда королем был Кумбело», и мы, притихнув у камина в ее маленькой гостиной, внимательно слушали, а за стенами нашего Каменного Дома стояла зима.

Иногда она говорила:

– А дальше, Оррек, рассказывай ты. – Она утверждала, что просто хочет убедиться, хорошо ли я запомнил эту историю и умею ли ее рассказывать.

Все чаще и чаще она начинала рассказ, а я его заканчивал. Однажды она сказала:

– Мне что-то лень сегодня. Расскажи сам какую-нибудь историю.

– Какую?

– А ты придумай!

Откуда она узнала, что я придумываю истории? Что я без конца складываю их в уме в долгие часы своего вынужденного безделья и скуки?

– Я как-то раз думал о том, что бы сделал Хамнеда, если бы оказался в Алгаланде. Этого ведь нет в твоей истории, правда?

– Вот и расскажи мне.

– Значит, так: после того как Омнан оставил его в пустыне, помнишь, и он сам должен был искать дорогу... Мне кажется, он ужасно страдал от жажды... Там ведь одна пыль, в этой пустыне; куда ни посмотришь – все сплошь покрыто красной пылью. И ничего там не растет, и нет ни ручейка. И Хамнеда знал: если он не найдет воду, то непременно умрет. И он решил идти на север, ориентируясь только по солнцу и не имея для того иной причины, кроме того что на севере была его родина, Бенгдраман. Он все шел и шел, а солнце нещадно палило его голову и спину, и ветер задувал пыль ему в глаза и ноздри, так что трудно было дышать. Ветер становился все сильнее, и вскоре прямо перед Хамнедой возник смерч, взметая высоко над землей клубы красной пыли. Хамнеда не пытался убежать; он остановился и замер, бессильно раскинув руки, и смерч налетел на него, подхватил, закрутил и вдруг поднял высоко над землей. Хамнеда кашлял, задыхаясь в клубах пыли, а смерч все нес его над пустыней, время от времени яростно вращая и пытаясь задушить. Наконец солнце стало садиться, и ветер внезапно улегся. Смерч, опустившись на землю, бросил Хамнеду к воротам какого-то города и исчез. Голова у Хамнеды кружилась так, что он даже стоять не мог. И с ног до головы он был покрыт красной пылью. Пытаясь встать хотя бы на четвереньки и набрать в грудь воздуха, он лежал у ворот, а стражники время от времени поглядывали в его сторону, пытаясь понять в сумерках,

что же это такое. И один из них сказал: «Вон там кто-то оставил большой глиняный кувшин». Но второй возразил: «Это не кувшин, а какая-то статуя. Похоже, собаки. Должно быть, кто-то прислал ее в подарок нашему царю». И стражники решили отнести «статую» в город...

– Продолжай, – сказала Меле. И я стал рассказывать дальше.

Увы, теперь мое повествование подошло к тому, о чем мне совсем не хочется вспоминать. Передо мной тоже открылась пустыня. И не было такого смерча, который мог бы подхватить меня и перенести через нее.

И с каждым днем, с каждым шагом я все дальше углублялся в эту пустыню.

И вот пришел тот день, когда моя мать, отложив перо и чернила, сказала, что слишком устала и теперь, пожалуй, больше ничего не будет записывать. А потом однажды она попросила меня рассказать ей какую-нибудь историю, но, похоже, не очень-то слушала меня: ее бил озноб, она все время задремывала, но стоило моему голосу умолкнуть, как она говорила: «Не останавливайся», – и я послушно продолжал рассказывать, хоть и боялся слишком утомить ее.

Когда стоишь еще на самом краю пустыни, то кажется, будто она необычайно велика. Возможно, думаешь ты, потребуется целый месяц, чтобы ее пересечь. Но проходит и два месяца, и три, и четыре, а ты все идешь и идешь, с каждым шагом уходя все дальше в это царство красной пыли.

Рэб и Соссо, добрые и сильные девушки, отлично ухаживали за Меле, но, когда она стала совсем слаба, Канок сказал, что теперь сам будет ухаживать за нею. И делал это с удивительно деликатным терпением. Он заботился о ней, как о ребенке, – поднимал, обмывал, утешал, пытался согреть. Два месяца он почти не выходил из ее комнаты. Коули и я тоже большую часть времени проводили там, хотя бы для того, чтобы составить ему компанию. По ночам он нес свою бессонную вахту в одиночестве.

Порой ему удавалось немного поспать днем, подле нее. Как бы слаба она ни была, но шептала ему: «Иди сюда, ляг со мной, любовь моя. Ты, должно быть, ужасно устал. Ложись рядом, согрей меня. Вот, укройся моей шалью». И он ложился рядом с нею на ее узкое ложе, крепко обнимал ее и задремывал, а я сидел очень тихо, слушая их сонное дыхание.

Наступил май. Как-то утром я сидел у окна, чувствуя на руках теплые лучи солнца; я вдыхал ароматы весны, слушал легкий шелест ветерка в молодой листве. Канок приподнял Меле, чтобы Соссо могла постелить ей чистые простыни. Меле весила так мало, что он порой носил ее на руках, точно ребенка. Вдруг она пронзительно вскрикнула. Я даже не сразу понял, что, случилось. Оказывается, кости у нее стали настолько хрупкими, что, когда отец ее приподнял, ключица и бедренная кость хрустнули, как сухие ветки, и сломались.

Канок бережно опустил ее на кровать. Она была без сознания. Соссо бросилась за помощью. И я единственный раз за все эти долгие месяцы услышал, как Канок плачет. Он упал на колени возле ее постели и рыдал так громко, так ужасно задыхаясь и пряча лицо в ее простынях, что я весь съезжился на скамейке у окна, стараясь стать совсем незаметным.

Явившийся лекарь предложил уложить плечо и ногу Меле в лубки, чтобы обеспечить им полную неподвижность, но отец не дал ему даже прикоснуться к ней.

На следующий день я вышел за ворота, чтобы дать Коули немного побегать, и вдруг меня позвала Рэб. Я бросился в дом. Коули, все понимая, тут же повела меня к матери. Мы поднялись в башню. Меле лежала среди подушек, и старая коричневая шаль по-прежнему была у нее на плечах. Я наклонился и поцеловал мать. Ее руки и щека были холодны как лед, но она тоже поцеловала меня и прошептала:

– Оррек, я хочу видеть твои глаза. – И, почувствовав мое сопротивление, прибавила: – Ты уже ничем не можешь мне повредить, дорогой мой.

Но я все-таки колебался.

– Снимай, – велел мне Канок тихим голосом; он всегда в ее комнате говорил очень тихо.

И я стянул с глаз повязку, снял с глаз мягкие прокладки и попытался приподнять веки. Но оказалось, что я не могу этого сделать. Пришлось подтолкнуть веки пальцами, и только тогда глаза мои открылись, но я ничего не увидел – лишь какой-то яркий, болезненно яркий туман, некий хаос света.

Потом глаза мои, видно припомнив бывшее умение, как-то приновились к обстоятельствам, и я увидел лицо матери.

– Ну-ну, – одобительно сказала она, – вот так, хорошо! – Она смотрела мне прямо в глаза, и ее глаза показались мне невероятно огромными на ставшем крошечным, до предела исхудавшем личике в ореоле черных спутанных волос, разметававшихся по подушке. – Да, все правильно, – сказала она удовлетворенно и уверенно. И попросила меня: – Ты сохрани это как память обо мне, ладно? – И раскрыла ладонь, на которой лежала ее подвеска с опалом на серебряной цепочке. Руку она поднять не могла. Я взял подвеску и надел через голову на шею. – Энну, услышь меня и приди! – прошептала она. И закрыла глаза.

Я посмотрел на отца. Лицо его точно окаменело, но было исполнено твердой решимости. Он слегка кивнул мне.

Я еще раз поцеловал мать в щеку, снова положил на глаза прокладки и затянул на затылке концы черной повязки.

Коули слегка потянула за поводок, и я позволил ей увести меня из комнаты.

В тот же день сразу после заката моя мать умерла.

Печаль, как и слепота, – дело довольно странное; ты должен научиться жить с этим. Мы ищем товарищей по несчастью, оплакивая кого-то, но после первых бурных рыданий, после всех хвалебных слов и воспоминаний о прекрасном прошлом, после того, как выкрикнуты все сожаления и проклятия и зарыта могила, в твоём горе, в твоей великой печали нет и не может быть никаких товарищей по несчастью. Эту ношу приходится нести в одиночку. И как ты будешь ее нести – дело твое. Во всяком случае, так казалось мне. Возможно, говоря так, я проявляю неблагодарность по отношению к Грай, к тем людям, что окружали меня дома и в нашем поместье, к своим друзьям, без которых я не вынес бы, возможно, столь тяжкую ношу, не выдержал бы этого ужасного, долгого, черного года.

Да, я так и называл его про себя: черный год.

Рассказать о нем невозможно – это все равно что попытаться рассказать, как тянется бессонная ночь. Когда ничего не случается, когда мысли приходят и уходят сами собой без конца, точно незваные гости, когда человек засыпает на краткие секунды и снова просыпается и страхи громоздятся в его сознании и улетают прочь, когда в голове крутятся какие-то бессмысленные слова, а порой мимолетный кошмар касается его своим темным крылом, когда время, похоже, застыло, и в комнате по-прежнему темно, и рассвет никак не наступает...

В горе мы с Каномом не были товарищами по несчастью. И не могли быть. Как бы ни была жестока и безвременна моя утрата, я утратил только то, что время так или иначе должно было забрать и возместить мне иной любовью. Для него же такое возмещение было невозможно; для него с уходом Меле исчез весь смысл, вся прелесть жизни.

И он, оставшись одиноким, винил во всем себя, и печаль его была столь тяжела и безутешна, что он ни в чем более не находил ни покоя, ни отрады.

После смерти Меле многие люди в нашем поместье стали опасаться и Канока, и меня. Про меня было известно, что я обладаю «диким даром», а уж что теперь могло прийти на ум Канок, охваченному горем, трудно было даже предположить. Мы оба с ним были потомками Слепого Каддарда. И у нас, как у любого человека, было самое что ни на есть законное право на гнев. И поэтому все нас боялись. Хотя каждый человек в Каспромманте совершенно твердо знал: Меле Аулитту убил Огге Драм. Она умерла ровно через год и один день после той ночи, когда мы покинули Драммант. И не было никакой необходимости рассказывать людям

ту историю, которую Меле тогда рассказала мне, а я рассказал Грай, – о ночи, проведенной у постели больной девочки, о странном шепоте в полутемной комнате, о холоде, от которого не было избавления... Мы с Грай никому об этом не рассказывали; и я никогда не спрашивал, рассказывала ли она ее Каноку. Он, как и все остальные, и без того знал, что, съездив в Драммант, эта прекрасная светлая женщина вернулась оттуда больной, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, стала чахнуть и умерла.

Канок был сильным человеком, но последние месяцы перед кончиной Меле стали для него тяжким бременем, истерзав его тело и душу. Первые две недели после ее смерти он почти все время спал – в ее комнате, на той самой кровати, где она и умерла, когда он держал ее в своих объятиях. Он часами не выходил оттуда, и Рэб, Соссо и многие другие боялись за него. И его самого тоже боялись. А меня использовали как посредника. «Ты уж зайди туда тихонько, спроси, не нужно ли чего брантору Каноку», – говорили мне женщины. Аллок же обычно говорил так: «Ты спроси, чего брантор велит коню-то давать – отруби или овес?» Дело в том, что старый Грейлаг отказывался есть, и они беспокоились о его здоровье. Мы с Коули поднимались по винтовой лестнице в башню, и я, собравшись с духом, стучался. Иногда отец отвечал, иногда нет. Когда он открывал дверь, голос его звучал холодно и ровно. «Скажи им, что мне ничего не нужно», – говорил он обычно. Или: «Скажи Аллоку, пусть своей головой думает». И снова закрывал дверь.

Я до ужаса не любил ходить туда, ведь он совсем не желал меня видеть, но никакого физического страха перед ним я не испытывал. Я знал, что он никогда не воспользуется своим даром против меня, как знала это и Меле. Как она знала и то, что и я никогда бы не смог принести ей ни малейшего вреда.

Когда я окончательно осознал это, когда я стал все происшедшее со мной воспринимать именно так, то испытал настоящее потрясение. Это была не просто вера в отца; это было знание, понимание. Я твердо знал, что он никогда не причинит мне вреда. Я твердо знал, что никогда не причинил бы вреда Меле. А это означало, что я давным-давно мог бы снять свою повязку – во всяком случае, когда бывал с нею. Я мог бы видеть ее! Видеть весь тот последний год. Я мог бы заботиться о ней, быть ей полезным, читать ей, а не только рассказывать свои глупые истории. Я бы смотрел в ее дорогое лицо – и не один лишь краткий миг, а весь тот долгий, черный год!

Мысль об этом вызывала у меня не слезы, а приступы бешеного гнева, похожего, должно быть, на те чувства, которые испытывал отец, – сухую ярость бессильных сожалений.

И некого было за это наказывать, кроме меня самого. Или моего отца.

В ту ночь, когда умерла моя мать, я прижался к нему, и он крепко обнимал меня, и моя голова лежала у него на груди. Но с тех пор он едва ли хоть раз прикоснулся ко мне, да и говорил со мной очень мало; он заперся в ее комнате и всех сторонился. Он хочет в одиночку испытать все свое горе до дна, думал я с болью в сердце.

Глава 14

Всю весну Тернок и Парн старались приезжать к нам из Роддманта так часто, как только могли. Тернок был человеком очень добрым и мягким, и в семье у них всегда главенствовала Парн; не думаю, что он был так уж счастлив со своей волевой супругой, но никогда на нее не жаловался. Моего отца он обожал и всю жизнь смотрел на него снизу вверх, а мою мать нежно любил и теперь горячо ее оплакивал. В конце июня он заехал к нам, поднялся в башню и долгое время о чем-то говорил с Канок. И вечером Канок даже спустился вниз, поужинал вместе со всеми и с этого дня перестал запирается, заставляя себя понемногу возвращаться к своим прежним обязанностям, хотя спать всегда уходил в ту же комнату в башне. Со мной он по-прежнему разговаривал с трудом, как бы сквозь зубы, точно выполняя неприятную обязанность. Я отвечал ему тем же.

Я раньше надеялся, что, может быть, Парн знает, как помочь моей матери справиться с недугом, но Парн была охотницей, а не целительницей. В комнате больной она сразу начинала нервничать, проявлять нетерпение и, в общем, была бесполезной. На похоронах матери Парн руководила церемонией оплакивания, тем поистине ужасающим воем, который поднимают женщины Верхних Земель над могилой. Этот плач похож на вопли невыносимо страдающих от боли животных, так что даже Коули подняла голову и завывала вместе с женщинами, содрогаясь всем телом, а я стоял рядом с нею, тоже весь дрожа и тщетно борясь со слезами. Когда все было кончено, я чувствовал себя совершенно измученным, но, как ни странно, испытывал некоторое облегчение. Канок в течение всего оплакивания стоял не шелохнувшись, точно скала под дождем.

Вскоре после похорон Меле Парн отправилась в Каррантаг. Жители Барреманта, прослышав о ее умении приманивать дичь, послали за нею с вежливым приглашением погостить у них. Парн хотела, чтобы Грай непременно поехала с нею вместе и начала понемногу упражняться в применении своего дара. Подобная возможность отправиться к богатым горцам и завоевать там репутацию была редкой удачей. Но Грай отказалась, и Парн страшно на нее рассердилась. Но тут в очередной раз вмешался добросердечный Тернок и сказал жене:

– Ты уезжаешь, куда и когда хочешь, так позволь и своей почти взрослой дочери поступать так же.

Парн понимала справедливость его слов, но мириться с этим не хотела и на следующий же день уехала – без Грай и ни с кем даже не попрощавшись.

Молодого жеребца Блейза Грай уже вернула в Кордемант; он был полностью обьежен. И теперь она приезжала к нам на одной из рабочих лошадей из тех, на каких обычно пахали; если же свободной лошади не находилось, она просто шла пешком, хотя путь до Каспроманта был неблизкий, особенно если учесть, что оба конца нужно было сделать в один день. Для меня это было слишком далеко, чтобы я мог пойти туда пешком с Коули. А Чалая все старела, и я редко ездил на ней. Грейлаг, к счастью, преодолел свой недуг и дурное настроение, но и он тоже был уже старым жеребцом. Рыжему Бранти исполнилось четыре года, и на него среди наших соседей был большой спрос как на производителя, что ему самому, по всей видимости, очень нравилось, хотя и мешало выполнять свои прочие обязанности по хозяйству. В общем, конюшня у нас была весьма небогатой. И однажды вечером, собрав все свое самообладание – мне теперь постоянно приходилось это делать, разговаривая с отцом, – я сказал:

– Нам бы нужно завести еще одного жеребенка.

– Да вот я все думал спросить у Данно Барре: что он хочет за свою серую кобылу, – неожиданно миролюбиво откликнулся Канок.

– Она же старая! А если мы заведем жеребенка, Грай могла бы отлично его «обломать».

Когда не можешь видеть лица своего собеседника, его молчание всегда представляется несколько загадочным. Я ждал, не зная, то ли Канок просто обдумывает мое предложение, то ли уже отверг его.

– Ладно, я, пожалуй, действительно поищу жеребенка, – сказал он, и я обрадованно сообщил:

– Аллок говорил, что в Каллеманте есть очень хорошая молоденькая кобыла. Он о ней от нашего кузнеца слышал.

На этот раз молчание отца было более продолжительным. Ответа мне пришлось ждать целый месяц. Но он все же наконец был получен, когда Аллок, вне себя от восторга, крикнул мне, чтобы я быстрее шел на конюшню смотреть новую кобылу. Рассмотреть я ее, правда, не мог, но подошел, ощупал ее, погладил, почесал ей лоб и даже сел в седло, чтобы сделать пробный круг по двору. Аллок все нахваливал спокойный и разумный нрав кобылы и ее красоту. Ей всего год, сказал он, и она светло-гнедая, со звездочкой на лбу, благодаря которой и получила свою кличку: Звезда.

– Может, Грай стоит приехать к нам и поработать с лошадей? – спросил я, и Аллок сказал:

– Ох, да ведь Канок кобылу на целый год в Роддмант отправляет! Она все равно еще слишком молода, чтоб на ней твоему отцу можно было верхом ездить. Да и мне тоже.

Когда Канок вернулся в тот вечер домой, мне очень хотелось поблагодарить его, подойти, обнять, но я боялся – из-за своей вынужденной слепоты – сделать какое-нибудь неловкое движение; боялся, что он по-прежнему не захочет, чтобы я прикасался к нему.

И я сказал просто:

– Я проехал круг по двору на новой кобыле. Отличная лошада!

– Вот и хорошо, – спокойно откликнулся Канок, тут же пожелал мне спокойной ночи, и я услышал его тяжелые шаги на лестнице, ведущей в башню.

Так что в этот тоскливый период Грай, к моей великой радости, могла теперь приезжать ко мне верхом на Звезде два-три раза в неделю, а то и чаще.

Когда она приезжала, мы отправлялись кататься вместе и она непременно рассказывала мне, чем они со Звездой занимаются. Кобыла была ласковой, как ребенок, и очень послушной, так что для ее «обламывания» особенных усилий не требовалось; Грай учила ее приемам выездки и всяким другим штукам, которые могли, как она считала, продемонстрировать и искусство тренера, и возможности самой лошади. Мы редко уезжали далеко от дома, потому что у Чалой сильно болели суставы, и вскоре возвращались назад, а потом, если было тепло, сидели у нас на огороде, а если погода была холодной и дождливой, устраивались в своем любимом уголке у камина в гостиной.

В тот первый год после смерти матери я, несмотря на ту радость, которую доставляло мне присутствие Грай, иногда не мог заставить себя буквально ни слова произнести. Мне просто нечего было сказать. Меня окружала какая-то пустота, мертвое пространство, которое с помощью слов было не преодолеть.

И тогда Грай принималась сама рассказывать мне обо всем, что узнала за последнее время, и, выложив новости, просто сидела рядом в молчании, и молчать с ней было так же легко, как с Коули. И я был очень благодарен ей за это.

Я не слишком хорошо помню тот год. Я тогда словно провалился в некую черную пустоту. Мне нечем было заняться. Я чувствовал себя совершенно бесполезным. Мне казалось, что я так никогда и не научусь пользоваться своим даром; просто привыкну им не пользоваться, и все. И вечно буду сидеть в зале Каменного Дома, а люди будут меня бояться, это и будет моим единственным предназначением в жизни. Я с тем же успехом мог бы родиться идиотом, как та бедная крошка из Драмманта. Разницы особой не было бы. Все равно ведь со своей повязкой на глазах я выполнял роль пугала.

Иногда я в течение нескольких дней никому не говорил ни слова. Соссо, Рэб и другие люди в доме пытались со мной заговаривать, старались развеселить меня, как-то побаловать, приносили мне из кухни всякие лакомства, а Рэб настолько осмелела, что стала предлагать мне выполнить кое-что по хозяйству, что можно было сделать, и не имея глаз. Я с радостью когда-то выполнял ее просьбы, но не теперь. Под конец дня вместе с отцом обычно приходил Аллок, и, когда они обсуждали свои дела, я сидел с ними, но молчал, хотя Аллок все время пытался и меня втянуть в разговор. А Канок лишь спрашивал (как мне казалось, сквозь зубы): «Ты здоров, Оррек?» или «Ты сегодня катался верхом?». И я отвечал: «Да, здоров» или «Да, катался».

Теперь-то я думаю, что и отец не меньше меня страдал от возникшего меж нами отчуждения. Но тогда я знал одно: не ему приходится платить такую цену, какую плачу я за наш фамильный дар.

В течение всей зимы я строил планы того, как доберусь до Драмманта, отыщу Огге, сниму с глаз повязку и уничтожу его! Я снова и снова представлял себе эту поездку: я выеду еще до рассвета и возьму Бранти, потому что наши старые лошади уже слабы и недостаточно быстры. Я весь день буду ехать до Драмманта, а потом пережду где-нибудь, спрятавшись, и дождусь вечера, когда Огге выйдет из дома... Нет, лучше так: я предстану в новом обличье – ведь в Драмманте меня видели мальчишкой, да еще и с повязкой на глазах, а я тем временем здорово подрос, да и голос у меня стал грубеть. Кроме того, я надену плащ серфа, а не куртку и килт, как всегда, и меня никто не узнает. А Бранти я спрячу где-нибудь в лесу, потому что такого коня люди, конечно, сразу узнают, а сам я пойду пешком, точно бедный фермер из далекой горной лощины, и подожду Огге; а когда он появится, я одним взглядом, одним словом и одним жестом... И пока все будут стоять, застыв от ужаса и изумления, я снова ускользну в лес, сяду на Бранти, и мы помчимся домой, и я скажу Каноку: «Ты боялся убить его, а я все же сделал это!»

Но я этого так и не сделал. Я верил в то, что сделаю это непременно, без конца обдумывая свой план мести, но когда история эта подходила к концу, вместе с ней остывала и моя решимость.

Я так часто рассказывал себе эту возможную историю своей мести, что она износилась настолько, что утратила для меня всякий интерес.

И я еще глубже погрузился в окутывавшую меня тьму.

Но где-то там, в темноте, я неожиданно повернул назад, даже не поняв, что это произошло. Там ведь царил хаос, там не было понятий «вперед» или «назад», не было направления; но я куда-то повернул, и тот путь, на котором я оказался, вел меня назад, к свету. И Коули была моим верным спутником и товарищем в этой тьме и в этом молчании. А Грай была моим провожатым.

Как-то раз, когда она приехала к нам, я сидел у камина. Огня в камине не было – на дворе стоял май или июнь, так что топили только плиту на кухне, но на этой скамье у камина в гостиной я просиживал большую часть дня. Я слышал, как она приехала; слышал легкий перестук копыт Звезды на дворе, голос Грай, голос Соссо, которая, поздоровавшись с ней, сказала: «Он там же, где и всегда», а потом почувствовал на плече руку Грай. Но на этот раз она этим не ограничилась: она наклонилась и поцеловала меня в щеку.

После смерти матери меня никто не целовал; люди ко мне едва прикасались. И это ласковое прикосновение, этот поцелуй были для меня точно удар молнии. У меня даже дыхание перехватило.

– Здравствуй, принц Зола, – сказала Грай. От нее замечательно пахло запахом наездницы – конским потом, пылью, травой, и голос ее звучал, как шорох ветра в листве деревьев. Она присела рядом со мной и весело спросила: – Помнишь такого?

Я покачал головой.

– Ой, ну что же ты! Ты же всегда все истории помнишь. Правда, эту нам рассказывали давным-давно. Когда мы были еще маленькими.

Я по-прежнему молчал. Привычка к молчанию свинцовой тяжестью придавила мой язык. А Грай продолжала как ни в чем не бывало:

– Принц Зола – это мальчик, который даже спал в уголке у очага, потому что родители не позволяли ему ложиться в кровать...

– Приемные родители.

– Верно. А настоящие родители его потеряли. Интересно, как можно потерять мальчика? Они, должно быть, были страшно беспечными людьми.

– Они были королем и королевой. А мальчика украла ведьма.

– Правильно! Он вышел из дому поиграть, а из лесу появилась ведьма... и у нее была сладкая спелая груша... и как только мальчик откусил от груши кусочек, она сказала: «Ага, сладкоежка! Ну что, перепачкался волшебным липким соком? Теперь ты мой!» – Грай даже засмеялась от радости, вспоминая все это. – Так она и прозвала его Сладкоежкой. А что случилось потом?

– Ведьма отдала его одной бедной паре, у которой уже было шестеро своих детей, так что седьмого иметь им совсем не хотелось. Но она хорошо заплатила им – дала золотой слиток, чтоб они все-таки оставили его у себя. – Слова и ритм знакомого повествования заставили меня во всех подробностях вспомнить эту сказку, которую я не вспоминал уже лет десять; и в ушах моих вновь зазвучал мелодичный голос матери, рассказывавшей нам о принце Золе. – В общем, мальчик стал у них в доме слугой, и ему приходилось бежать со всех ног, стоило приемным родителям его кликнуть, а окликали они его так: «Эй ты, чумазый Сладкоежка, сделай то-то и то-то!» – и у него никогда не было ни минутки свободной, пока не наступала глубокая ночь; к этому времени вся работа в доме была уже переделана, и он мог наконец пробраться к очагу, лечь спать прямо в теплую золу.

Я умолк.

– Ой, Оррек, ну что же ты? Рассказывай дальше, – прошептала Грай.

И я стал рассказывать дальше. Я рассказал ей всю историю принца Золы, который, конечно же, в конце концов стал королем.

Потом мы оба некоторое время молчали, и я услышал, как Грай высморкалась. Похоже, она плакала.

– Ты только подумай, плакать из-за какой-то сказки! – с досадой пробормотала она. – Просто я вспомнила Меле... Коули, да у тебя все лапы в золе! Ну-ка давай их сюда. Вот так. – Видимо, последовала чистка собачьих лап, и Коули принялась энергично отряхиваться.

– Давай выйдем на улицу, – предложила мне Грай и встала, но я продолжал сидеть совершенно неподвижно.

– Пойдем, посмотришь, что научилась делать Звезда, – услышал я снова ее чуть хриловатый голос.

Она сказала «посмотришь». Впрочем, я и сам обычно так говорил, потому что очень трудно каждый раз подбирать какое-то другое, более точное слово. Но на этот раз – наверное, я уже повернул назад в своей темной стране, но еще не понимал этого, хотя что-то в моей душе уже переменялось, – я вдруг рассердился:

– Я не могу «посмотреть», что делает Звезда! Я вообще ни на что не могу «посмотреть». Хватит, Грай! Ступай лучше домой. Все это глупости, и нечего тебе сюда приезжать без толку.

Она помолчала, потом тихо сказала:

– Я сама в состоянии решить, как мне поступить, Оррек.

– Ну так реши! Воспользуйся своей головой!

– Сам воспользуйся своей головой! С ней ведь ничего плохого не случилось, если не считать того, что ты совсем перестал ею пользоваться! В точности как глазами!

При этих словах волна ярости вдруг поднялась в моей душе, той самой застарелой испепеляющей ярости отчаяния, какую я испытывал и в те мгновения, когда пробовал воспользоваться своим даром. Я протянул руку, нащупал посох Слепого Каддарда и встал.

– Убирайся отсюда, Грай! – выкрикнул я. – Убирайся немедленно, пока я не убил тебя!

– А ты попробуй! Сними с глаз повязку!

Обезумев от ярости, я бросился на нее, вслепую взмахнув посохом. Удар, разумеется, пришелся в пустоту.

Коули резко предупреждая залаяла и крепко прижалась к моим коленям, чтобы я не мог сделать больше ни шагу вперед.

Я протянул руку и погладил собаку по голове.

– Все хорошо, Коули, – пробормотал я. Меня всего трясло от возбуждения и стыда.

Вскоре, но на некотором расстоянии от меня, послышался голос Грай:

– Я пойду на конюшню. Чалую уже несколько дней не выводили на прогулку. Я хочу взглянуть на ее суставы. А потом мы можем прокатиться, если захочешь. – И она ушла.

Я потер ладонями лицо. Обе мои руки и лицо показались мне странно грязными. Должно быть, я нечаянно размазал золу по лицу и волосам. На кухне я подошел к чану, в котором моют посуду, окунул туда голову, потом вымыл руки, причесался и велел Коули отвести меня на конюшню. Ноги были как ватные, и чувствовал я себя так, как, по-моему, должен чувствовать себя глубокий старик. И Коули, словно понимая это, шла медленнее обычного и очень осторожно вела меня.

Мой отец и Аллок уехали, взяв обоих жеребцов, и Чалая была в конюшне одна. Она стояла в большом стойле, где могла даже лечь. Коули подвела меня к ней, и Грай сказала:

– Пощупай вот здесь. Это ревматизм. – Она взяла мою руку и провела ею по передней ноге лошади, по бабке и тонкой кости голени. Я чувствовал, как сильно воспалены у Чалой суставы, как они горячи.

– Ох, Чалая, бедная ты моя! – тихо приговаривала Грай, оглаживая и почесывая старую кобылу, которая постанывала и прислонялась к ней, как делала всегда, когда ее ласкали или чистили скребницей.

– Я даже не знаю, стоит ли мне ездить на ней, – сказал я.

– Я тоже не знаю. С другой стороны, ей ведь нужно двигаться.

– Я могу просто выводить ее.

– Да, возможно, это было бы лучше. Ты для нее стал слишком тяжел.

Я и сам чувствовал, что здорово прибавил в весе. Я слишком долго просидел дома, не занимаясь никакой работой, но всегда испытывал голод, хотя пища и не приносила мне особой радости и казалась безвкусной, с тех пор как я надел на глаза повязку. Рэб и Соссо, а также наша кухарка всегда старались подкормить меня, дать мне что-нибудь вкусненькое, раз уж ничем другим не могли меня утешить. В итоге я не только поправился, но и сильно вырос. Причем рос я так быстро, что у меня по ночам болели кости. И я все время стучался головой о дверные косяки, которых еще в прошлом году совершенно не замечал.

Я взял Чалую под уздцы – я теперь хорошо умел взнуздывать лошадь даже с завязанными глазами – и вывел ее из конюшни. Грай подвела Звезду к сажальному камню и вскочила на нее. Ездила она охлюпкой, без седла. И мы потихоньку побрели по знакомой тропе. Коули вела меня, а я – Чалую; я слышал, как сильно она прихрамывает, идя следом за мною.

– Знаешь, мне кажется, она идет и на каждом шагу охает от боли, – сказал я.

– Так и есть, – откликнулась Грай, ехавшая впереди.

– А ты можешь читать ее мысли?

– Если установлю с ней связь.

– А мои мысли читать можешь?

– Нет.

– Почему нет?

– С тобой я не могу установить связь.

– Почему?

– Слова мешают. Слова и... все остальное. Я могу читать мысли только самых маленьких детей, новорожденных. Именно так мы, например, узнаем, что женщина беременна. Мы можем установить связь с младенцем в ее утробе. Но когда младенец вырастает, его мысли становятся для нас недоступны. Мы не можем ни позвать его мысленно, ни услышать его ответ.

Мы помолчали. Чалая понемногу разошлась и приободрилась, так что мы свернули и сделали круг по тропе над Рябиновым ручьем. И я сказал:

– Скажи мне, как там все выглядит, когда мы подойдем ближе.

– Это место не слишком изменилось. Только травы, пожалуй, чуть больше выросло. Но здесь все еще царит... этот... как он там называется?

– Хаос. А та рябинка?

– Ее нет. Только обгорелый пенек торчит.

Мы повернули назад. И я сказал:

– Понимаешь, самое странное, что я не могу даже вспомнить, как это сделал. Словно открыл глаза – и все переменялось.

– Но разве твой дар действует не так?

– Нет. Во всяком случае, не с закрытыми глазами! Иначе зачем же мне носить эту проклятую повязку? Когда глаза запечатаны, наш дар спит.

– Но ведь у тебя «дикий дар»... Ты не хотел его использовать... Это случилось само собой и так быстро, что ты...

– Да, наверное. – Нет, я хотел его использовать, подумал я, но вслух ничего не сказал.

И мы поплелись назад. Но Грай явно не могла успокоиться.

– Оррек, ты извини меня за те слова, когда я сказала, чтоб ты поднял свою повязку, ладно?

– И ты извини, что я в тебя чуть посохом не попал!

Она не рассмеялась в ответ на мою неуклюжую шутку, но мне все же стало чуточку полегче.

Это было не в тот же день, но, в общем, вскоре, когда Грай спросила меня о книгах. Она имела в виду те книги, которые Меле писала во время болезни осенью и зимой.

– Они у нее в комнате, в сундучке. – Я все еще ревниво считал эту комнату комнатой Меле, хотя Канок и спал там и вообще почти все свое время проводил там. Вот уже полтора года.

– А как ты думаешь, я смогу их прочитать?

– Ты единственный человек в Верхних Землях, который может это сделать, – сказал я с той невольной горечью, которая теперь слышалась в каждом моем слове.

– Ну... мне это всегда было так трудно... Я теперь уж и некоторых букв не помню... Зато ты сможешь читать их.

– О да, я буду читать их! Когда сниму с глаз повязку. Когда рак под горой свистнет.

– Послушай, Оррек...

– Хорошо, больше не буду. Да, я смогу их прочесть.

– Ты мог бы уже сейчас попробовать их читать. Хотя бы немножко. Хотя бы одну из ее книг. Ты ведь можешь больше ни на что не смотреть, только на книгу. – Голос Грай был едва слышен. – Ну не станешь же уничтожать все, на что упадет твой взгляд! Особенно если будешь смотреть только на то, что написала твоя мать! Она же для тебя старалась!

Грай не знала, что я видел мать незадолго до ее кончины. Никто этого не знал, кроме Канока. Но никто не знал и того, что всегда знал я: я никогда бы не причинил вреда Меле. Так разве я мог уничтожить теперь ту единственную вещь, которую она мне оставила?

Но объяснить все это Грай я не мог.

Я никогда не давал отцу честного слова не снимать с глаз повязку. Так что это меня не связывало; зато меня связывало нечто иное и держало крепко. Именно оно помешало мне, хотя в этом не было ни малейшей необходимости, видеть мать в последний год ее жизни; именно оно сделало меня бесполезным для нее по той лишь причине, что слепота моя была полезна моему отцу, превратившему меня в свое оружие, в угрозу для своих врагов. Но неужели я обязан был хранить верность только ему?

Довольно долго мысль моя на этом и останавливалась. А Грай больше о моей возможности читать книги не заговаривала, и я решил уже, что мы оба выбросили это из головы.

Но как-то осенью, когда мы с Канокм вдвоем возились на конюшне – я втирал в суставы Чалой мазь от ревматизма, а Канок лечил Грейлагу копыто, причинявшее старому коню сильную боль, – я вдруг сказал:

– Отец, я хочу увидеть те книги, которые написала мама.

– Книги? – растерянно переспросил он.

– Ту книгу, которую она подарила мне давным-давно, и еще те, которые она писала во время болезни. Они в сундучке. В ее комнате.

Отец долго молчал, потом спросил:

– А зачем они тебе?

– Я хочу, чтобы они были у меня. Она же их для меня писала.

– Возьми, если хочешь.

– Хочу! – сказал я, и Чалая шарахнулась, потому что я, стараясь побороть душивший меня гнев, слишком сильно стиснул ее колено. В эту минуту я ненавидел своего отца. Ему был безразличен я, его сын, и та работа, на которую моя мать потратила свои последние силы; ему было безразлично все, кроме желания оставаться брантором Каспроманта и властвовать над всеми благодаря своему ужасному дару.

Я закончил возиться с Чалой, вымыл руки и пошел напрямик в комнату матери, зная, что отца там, конечно же, не будет. Коули охотно вела меня по лестнице, словно ожидая, что там она найдет Меле. В комнате было холодно и царило какое-то опустошение. Я побродил по комнате в поисках сундучка и нащупал в изножье кровати, на спинке аккуратно сложенную коричневую шаль, связанную моей бабушкой, в которую мать всегда куталась, когда ей было холодно, и которую почти не снимала с плеч перед смертью. Я хорошо помнил эту грубоватую, но мягкую шерсть, спряденную вручную. Наклонившись, я зарылся в шаль лицом, но вдохнуть знакомый запах матери, ее слабый душистый аромат, столь памятный мне, не мог: шаль пахла мужским потом и солью.

– Подведи меня к окну, Коули, – сказал я собаке. Там я наконец и отыскал тот сундучок и, подняв крышку, нащупал аккуратно сложенные куски тонкой материи. Их оказалось куда больше, чем я смог бы унести в одной руке, – ведь во второй руке я был вынужден держать поводок. Я просунул руку глубже, почти до самого дна, и там нашел ту самую первую книгу, в переплете, которую мать сделала для меня: «Историю лорда Раниу». Я вытащил ее и закрыл крышку сундучка. Когда Коули вела меня назад, к двери, я снова коснулся коричневой шали, и сердце мое как-то странно екнуло, но я даже не попытался понять отчего.

Тогда я думал только о том, чтобы вернуть свою книгу, подарок матери. Я ее нашел, и пока что этого мне было достаточно. У себя в комнате я положил книгу на стол. Здесь все имело свое определенное место и никогда это место не покидало; я никому не позволял ничего здесь трогать. Потом я спустился к ужину, и мы с отцом поужинали – как всегда, в полном молчании.

Лишь под конец трапезы он спросил:

– Ты нашел ту книгу? – Это слово он произнес как-то неуверенно.

Я кивнул с неожиданным злобным удовлетворением, как бы усмехаясь про себя: ага, ты не знаешь, что такое книга, не знаешь, что с ней делать, потому что не умеешь читать!

И после ужина, оставшись у себя в комнате в полном одиночестве, я сел за стол, посидел некоторое время неподвижно, а потом решительно снял с глаз повязку и убрал прокладки.

И увидел темноту.

Я чуть не вскрикнул в полный голос. Сердце мое забилося от ужаса, в голове помутилось. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я сообразил, что передо мной висит какой-то странный предмет, весь покрытый блестящими серебряными точечками. И этот предмет я, безусловно, ВИДЕЛ! Оказалось, что это оконная рама и звезды за окном.

Я понял: в моей комнате было темно – зачем незрячему свет? Теперь нужно идти на кухню и просить там кремь и кресало, а также свечу или лампу. А что мне скажут слуги на кухне, когда я попрошу у них все это?

Когда глаза мои немного привыкли к темноте, я смог различить на столе прямоугольник книги, белеющий в свете звезд. Я провел по книге рукой и увидел движение каких-то теней. Создавать такие тени и следить за ними доставляло мне такое удовольствие, что я делал это снова и снова. Я поднял голову и увидел на небе яркие осенние звезды. Я смотрел на них так долго, что, казалось, видел, как они медленно плывут по небосводу на запад. Пока что достаточно, решил я.

Снова наложил на глаза мягкие прокладки, завязал на затылке повязку, разделся и лег в постель.

Я ни на секунду даже не вспомнил, когда смотрел на книгу, на свою руку, на звезды за окном, что могу их уничтожить; мне даже в голову не приходила мысль о своем смертельно опасном даре; я был исполнен благодарности за один-единственный дар природы – способность видеть. Неужели я мог уничтожить эти звезды, потому что мог видеть их?

Глава 15

Теперь мне для счастья достаточно было одного – иметь при себе те страницы, которые Меле написала для меня. Я перенес их к себе в комнату и хранил в том же резном сундучке. Каждое утро я просыпался на рассвете, с криком первого петуха, и тут же вставал, садился за стол и сдвигал с глаз повязку, но не снимал ее на тот случай, если в комнату вдруг кто-нибудь войдет. Я был очень осторожен и старался не смотреть больше ни на что, кроме исписанных листков, и еще – один раз в самом начале, а второй раз в конце – поднимал глаза и смотрел в окно, на небо. Я решил, что никому не причиняю никакого вреда, когда читаю написанное моей матерью и смотрю на небо.

Впрочем, было ужасно трудно, например, не смотреть на Коули. Ведь я мечтал ее увидеть. И если бы она оставалась в комнате, я не смог бы отвести от нее глаз. От одной мысли об этом у меня мурашки бегали по спине. Я сидел, прикрыв глаза руками с обеих сторон, чтобы видеть только исписанные листки, лежавшие передо мной, но и это было небезопасно. И я, закрыв глаза, выставлял бедную Коули за дверь. «Сидеть», – говорил я ей и слышал, как ее хвост слабо постукивает по полу в знак послушания. И чувствовал себя настоящим предателем, когда закрывал за собой дверь.

Часто меня ставило в тупик содержание того, что я читал, потому что исписанные кусочки ткани лежали в сундучке как попало, а потом и еще больше перепутались, когда я частями переносил их к себе. Кроме того, мать явно записывала подряд все, что могла вспомнить, что приходило ей в голову, и зачастую это были просто какие-то отрывки без начала и конца и без каких-либо связей с другими текстами, которые могли бы объяснить их содержание, или даже отдельные мысли. Когда мать только начинала все это записывать, то оставляла пометки вроде: «Это из „Молитвы Энну“, которой научила меня бабушка; эту молитву следует произносить женщинам». Или: «Это из „Сказания о святом Мому“, но я не помню, что там было дальше». На некоторых страницах наверху было написано: «Моему сыну Орреку из Каспроманта». А одна из самых ранних записей, легенда о создании Деррис-Уотера, была озаглавлена: «Капли из ведра, которое для своего дорогого сына подняла из колодца знаний Меле Аулитта из Деррис-Уотера, жившая затем в Каспроманте». По мере того как болезнь брала над Меле верх – это было заметно по тому, каким торопливым и неразборчивым стал ее почерк, – пояснений и дополнений появлялось все меньше. А вместо историй она записывала поэмы и песни, иногда вкривь и вкось, поперек страницы, так что понять содержание этих стихов, услышать заключенную в них музыку можно было, только если прочесть их вслух. Некоторые из самых последних страниц разобрать оказалось почти невозможно. На самой же последней – она лежала на самом верху, прямо под крышкой сундучка, и я хранил ее особенно бережно – было всего несколько бледных строчек. Я помнил, как она тогда сказала, что слишком устала и хочет немного отдохнуть.

Я думаю, кому-то может показаться странным, что после столь радостных часов, проведенных за чтением драгоценных страниц, написанных матерью, я с готовностью вновь погружался во тьму, завязывал глаза и, спотыкаясь, ходил повсюду за собакой-поводырем. Скажу честно: я сам этого хотел и искренне считал, что единственный способ для меня как-то защитить Каспромонт – это оставаться слепым. Так что я оставался слепым, находя в этой своей решимости некую искупительную радость, чувствуя, что таков мой долг.

Я понимал, что не сам нашел для себя спасение от тяжелого бремени этого долга. Это Грай подсказала мне выход, посоветовав прочитать то, что было написано Меле. Стояла осень, и Грай была занята на уборке урожая, так что приезжала к нам нечасто; но в самый первый раз, когда она приехала, я сразу же повел ее к себе в комнату, показал ей сундучок с записями и рассказал, что читаю их.

Она, похоже, скорее огорчилась или смутилась, чем обрадовалась, и поспешила покинуть мою комнату. У нее, конечно, чутье было куда острее, чем у меня, и она всегда лучше чувствовала любой возможный риск. Люди в наших краях к поведению незамужних девушек относились строго. Впрочем, никто в Верхних Землях не видел ничего дурного в том, чтобы молодые люди вместе катались верхом, гуляли и разговаривали вне дома или в таких местах, куда всегда могут зайти и другие люди, однако девушке пятнадцати лет зайти в спальню к юноше было просто непозволительно. Рэб и Соссо наверняка здорово отчитали бы нас, если б заметили, но что еще хуже – прядильщицы или прислуга на кухне могли пустить сплетни. Когда подобная мысль пришла мне в голову, я почувствовал, как запылали мои щеки. Я вышел из комнаты следом за Грай, и еще примерно с полчаса мы чувствовали себя в обществе друг друга неловко, а разговаривать могли только о лошадях.

А когда мы наконец обрели способность обсудить то, что я успел прочесть, я сразу же с огромным энтузиазмом продекламировал Грай несколько поэм Одрессела, но на нее стихи особого впечатления не произвели. Она предпочитала истории. Я не мог объяснить ей, до чего меня завораживает поэзия этого автора. Я попытался сообразить, как ему удавалось так складывать слова, что одно слово как бы перекликается с другим, повторяя тот или иной звук или ритм; как он вплетает в этот сотканный из слов рисунок некую мелодию. Это давно уже не давало мне покоя, и каждый день, бродя по дому в повязке на глазах, я тоже пытался сложить свои собственные слова подобным образом, создать некий рисунок, который уже виделся мне, и иногда это получалось. Это давало мне ни с чем не сравнимое, чистое удовлетворение, которое возрождалось каждый раз, когда я думал о созданном мною словесном рисунке – первых своих поэтических опытах.

В тот раз Грай уехала от нас в довольно мрачном настроении; да и в следующий ее приезд она была какой-то невеселой. Наступил дождливый октябрь. Как-то раз мы с ней сидели в своем любимом уголке у камина и беседовали. Рэб принесла нам целую тарелку овсяного печенья, и я потихоньку его пожирал, а Грай почти не замечала угощения и в основном молчала. Наконец она сказала:

– Оррек, а зачем, как тебе кажется, нам даны эти дары?

– Наверное, чтобы с их помощью защищать людей.

– Только не с помощью моего дара.

– Твоего, наверное, нет. Но ведь ты помогаешь людям охотиться, добывать пищу, приручаешь животных и обучаешь их...

– Ну да, это понятно. А чем помогает людям твой дар? Или дар твоего отца? Дар уничтожения, убийства.

– Должен же кто-то уметь это делать. Убивать врагов, например, или...

– А еще? Вот, например, мой отец с помощью своего дара ножа может и убить человека, и вытащить занозу из пальца или колючку из ноги. И сделает это так аккуратно и быстро, что выступит только маленькая капелька крови. Глянет – и занозы как ни бывало. А Нанно Корде? Она ведь может запросто сделать человека глухим и слепым, а ты знаешь, что она вернула слух совершенно глухому мальчику? Он был глухонемым от рождения, только со своей матерью мог знаками объясняться, а теперь слышит достаточно хорошо, а вскоре и говорить научится. Нанно сказала мне, что действовала почти так же, как когда насылает на кого-то глухоту, только действие шло как бы в противоположную сторону, понимаешь?

Это было страшно интересно, и мы еще немного об этом поговорили, хотя мой-то дар «в обратном направлении» не действовал. А вот у Грай явно имелись определенные соображения насчет возможностей ее дара, и она сказала задумчиво:

– Интересно, а любой ли дар можно заставить действовать наоборот?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Я не имею в виду способность призывать. Ее и так можно по-разному использовать. А вот дар ножа или дар узды – они, возможно, действуют в обе стороны. Они могли бы быть полезны – для лечения людей от разных недугов, например. Служили бы благородной цели. А может, так и было когда-то, но потом оказалось, что эти дары являются также и опасным оружием, вот их и стали использовать только в этом качестве, а о второй возможности позабыли. Даже дар узды, которым обладает род Тибро, сперва, возможно, был просто даром работы с людьми, умением руководить, а потом его заставили действовать наоборот – и люди подчинились и стали работать на Тибро.

– Ну а дар рода Моргов? – спросил я. – Ведь их дар – не оружие.

– Нет. Но он хорош только для того, чтобы обнаружить, чем человек болен, чтобы знать, как его лечить. Их дар неспособен сделать человека больным. Он действует только в одну сторону. Именно поэтому Морги и вынуждены скрываться в таких местах, куда никто больше не ходит.

– Ну хорошо. Но ведь некоторые дары никогда нельзя было назвать добрыми. Они всегда действовали только в одну сторону. Например, дар Хелваров или дар Каспро.

– И Хелвары, и Каспро тоже, вполне возможно, когда-то занимались целительством. Если у человека или животного внутри были какие-то неполадки, что-то запутывалось в организме, то, может быть, с помощью такого дара можно было распутать создавшийся «узел», развязать его, привести все связи в порядок.

Это был совершенно неожиданный поворот. Мне показалось, что у меня открываются новые возможности, появляется новая надежда. Я совершенно точно понимал, что хочет сказать Грай. Это было то же самое, что и со стихами, – когда некая путаница слов и чувств вдруг складывается у тебя в голове в определенный рисунок, становится ясной и ты с радостью признаешь: да, да, правильно, я именно это и хотел сказать!

– Но почему же тогда Каспро перестали лечить людей и стали их убивать, превращая внутренности своих врагов в кровавую кашу?

– Потому что у нас еще слишком много врагов. А может, еще и потому, что нельзя использовать свой дар в обоих направлениях. Нельзя одновременно двигаться и вперед, и назад, ясно?

Я понимал по ее голосу, что она говорит сейчас о чем-то очень для нее важном. Это наверняка имело отношение к использованию ее собственного дара, но я не мог с уверенностью сказать, что именно было у Грай на уме.

– Ну что ж, если бы кто-нибудь научил меня использовать мой дар для созидания, а не для разрушения, я бы с удовольствием этому научился, – сказал я, хотя, пожалуй, всерьез так не думал.

– Правда? – Зато Грай была совершенно серьезна.

– Нет, – признался я. – Нет. Сперва я должен уничтожить Огге Драма!

Она тяжело вздохнула.

Я стукнул кулаком по каменной скамье и сказал:

– Я должен его уничтожить! И я уничтожу эту жирную гадюку, как только смогу снять повязку! Не понимаю, почему Канок этого не делает? Чего он ждет? Ждет, когда вырасту я? Ведь он же прекрасно знает, что я не могу... управлять своим даром. А он может! Как же можно сидеть здесь, молча страдать и даже не пытаться отомстить за смерть Меле!

Я никогда прежде не говорил Грай ничего подобного. Да и себе вряд ли такое говорил. И, произнося эти слова, я вдруг ощутил жаркий прилив гнева. Но ответ Грай прозвучал холодно:

– Ты хочешь, чтобы твой отец умер?

– Я хочу, чтобы умер Драм!

– Ты же знаешь, что Огге Драм ни днем ни ночью не отпускает от себя охранников и эти люди вооружены мечами и кинжалами, а стены его Каменного Дома охраняют отборные лучники. И между прочим, у его сына Себба имеется тот же дар. Да и Рен Корде преданно служит

Драму. И все его приспешники только и следят, нет ли какой угрозы со стороны Каспроманта. Неужели ты хочешь, чтобы Канок один отправился в это дьявольское логово и погиб?

– Нет...

– Ты же не думаешь, что он будет убивать исподтишка – как ТОТ убил твою мать, подкравшись к ней в темноте? Неужели ты думаешь, что Канок на такое способен?

– Нет, – сказал я и уронил голову на руки.

– Мой отец говорит, что он уже почти два года все боится, что Канок вскочит на коня и помчится в Драммант убивать Огге Драма. Точно так же как он тогда помчался в Дьюнэт. Только теперь он бы поехал один...

Мне нечего было возразить ей. Я понимал теперь, почему Канок медлит, почему так ведет себя. Ради тех людей, которые нуждаются в его защите. Ради меня.

Грайд долго молчала, потом сказала:

– А может быть, вы вообще не можете использовать свой дар в обе стороны. Я, например, могу только «вперед».

– Тебе повезло.

– Да, – согласилась она. – Хотя моя мать так не думает. – Она резко встала и сказала: – Коули! Пойдем прогуляемся?

– Что ты хотела сказать про свою мать?

– Пожалуйста: моя мать хочет, чтобы я с нею вместе поехала в Барремант на зимнюю охоту. Она сказала, что если я с ней не поеду и не стану призывать зверей охотникам, то лучше мне поскорее найти себе мужа, потому что вряд ли жители Роддманта согласятся содержать меня, если я не стану пользоваться своим даром для охоты.

– А Тернок что говорит?

– Отец очень опечален и обеспокоен; он не хочет, чтобы я огорчала маму, и не понимает, почему я не хочу быть брантором.

Я мог с уверенностью сказать, что Коули стоит рядом и терпеливо ждет, готовая к обещанной прогулке. Так что я тоже встал, и мы вышли из дому. Моросил дождь, но ветра не было совсем.

– А почему ты не хочешь быть брантором? – спросил я.

– А ответ целиком есть в той истории про муравьев... Идем! – И она решительно двинулась вперед, не обращая внимания на дождь. Коули потянула меня за ней.

Этот очень тревожащий разговор был мне понятен лишь наполовину. Грайд что-то сильно беспокоило, но я ничем не мог помочь ей, а совет ее матери насчет скорейшего замужества и вовсе заставил меня помалкивать. Поскольку глаза мои были скрыты повязкой, мы даже не упоминали о том обещании, которое дали когда-то над водопадом. Я не мог заставить Грайд держать данное слово. Да и зачем? Сам я легко мог от него отказаться. Нам ведь было всего по пятнадцать лет. И не возникало никакой необходимости спешно что-то предпринимать. Даже говорить об этом необходимости не было. Мы оба и так все понимали. В Верхних Землях помолвки заключаются порой очень рано, но люди редко женятся, пока им не исполнится хотя бы лет двадцать. И я уверял себя, что Парн просто пугает Грайд. Но все же чувствовал, что эта угроза нависла и надо мной.

То, что Грайд говорила о наших дарах, имело, конечно, и для меня определенный смысл, но все же представлялось мне чистой теорией, если не считать рассуждений о ее собственном даре. Этот дар, как она сказала, можно использовать в обе стороны. Если под словом «назад» она имела в виду способность призывать животных для того, чтобы их потом убили охотники, тогда «вперед» означало работу с домашними животными – воспитание ездовых и рабочих лошадей, дрессировку собак, лечение животных. Призывать тех, кто удостоил тебя своим доверием, и что-то дать ему, помочь, а не предать его – вот как она это себе представляла. И если это действительно так, то разубедить ее не сможет даже Парн.

Но правда и то, что обучение лошадей и дрессировка собак считались в наших краях таким делом, которому может научиться любой. Семейный дар Барре – это умение призывать дичь к охотникам. И Грай действительно не сможет стать брантором ни в Роддманте, ни где-либо еще, если не захочет этим даром пользоваться. Если – как это, видимо, представляется Парн – не станет прославлять свой дар, а предаст его.

А я? Не пользуясь своим даром, отказываясь от этого, не доверяя самому себе – разве я не предаю свой дар?

В общем, этот год все тянулся и тянулся, и казалось, ему не будет конца, хотя теперь каждый день у меня было по одному действительно светлому часу – на заре. И вот в самом начале зимы в Каспромманте объявился этот беглец.

Он был на волосок от гибели, даже не подозревая об этом, когда пересек границы наших владений и спустился со стороны западных овечьих пастбищ в том самом месте, где мы тогда встретились с гадюкой. В тот день Канок как раз осматривал там изгородь – он старался объезжать наши границы с Драммантом и Кордеммантом как можно чаще – и увидел, что какой-то парень, перепрыгнув через стену, стал спускаться вниз по склону холма. «Красться» – как сказал Канок. Разумеется, мой отец, развернув Бранти, тут же налетел на незваного гостя, точно сокол на мышь. «Я уж и левую руку поднял, – рассказывал он. – Я был почти уверен, что этот тип явился воровать овец или хочет увести нашу Серебряную Корову. Не знаю уж, что меня тогда остановило».

В общем, Эммона он тогда не уничтожил, но остановил его и потребовал объяснить, кто он такой и зачем сюда забрался. Возможно, Канок почти сразу понял, что это чужак – не овечий вор из Драмманта или из горных долин, а каллюк.

А может, когда он услышал речь Эммона, его мягкий говор жителя Нижних Земель, это смягчило его сердце. Так или иначе, а он вполне спокойно выслушал историю Эммона о его скитаниях, о трудном пути из Даннера, о том, что он совершенно не представляет, куда попал, и просто искал хоть какое-нибудь человеческое жилье, чтобы переночевать, согреться и, может быть, немного заработать. Холодные морозящие декабрьские дожди уже затянули горы, а у этого несчастного даже теплой куртки не было – так, тощенькая куртка и шарф, который совершенно не грел.

Канок отвел его на ту ферму, где старуха с сыном в свое время приглядывали за белыми телками и где теперь содержалась наша Серебряная Корова, и сказал, что если Эммон хочет, то пусть завтра приходит в Каменный Дом: может, для него какая-нибудь работенка и отыщется.

Да, я ведь еще не рассказывал о Серебряной Корове. В нее превратилась та белая телочка, которая осталась у нас, когда воры увели в Драммант двух ее сестер. Это была самая красивая корова во всех Верхних Землях. Когда она стала взрослой, отец с Аллоком отвели ее в Роддмант и там ее скрестили с белым быком, принадлежавшим Терноку. Каждый, кто видел нашу корову, восхищался ею. В первый раз она принесла двух телят, телочку и бычка, а во второй – двух телочек. Та старуха с сыном, помня о своей тогдашней оплошности, ходили за ней как за принцессой, глаз с нее не спускали, без конца чистили и мыли ее молочно-белую шкуру, старались накормить повкуснее и нахваливали ее всем и каждому. Это они придумали ей такое имя – Серебряная Корова. Наконец-то благодаря Серебряной Корове и ее сестрам стадо, о котором так давно мечтал Канок, стало постепенно разрастаться. У старухи Серебряная Корова чувствовала себя просто отлично, но, как только ее телята окрепли, отец перевел их всех на верхние пастбища, подальше от опасных границ с Драммантом.

В общем, на следующий день тот бродяга из Нижних Земель явился к нам, и Канок встретил его довольно приветливо, да и слуги отнеслись к нему хорошо, без настороженности; они накормили его, дали ему теплый плащ, хоть и старый, но еще вполне приличный, и с удоволь-

ствием слушали его рассказы. Всегда ведь неплохо, когда среди зимы в доме появляется новый человек с новыми историями.

– Он говорит совсем как наша дорогая Меле, – прошептала Рэб, пуская слезу. Я, конечно, слез не ронял, но и мне слушать мягкий говор Эммона было приятно.

На самом-то деле в это время года работы на фермах не было никакой – во всяком случае, такой, для которой требовались бы дополнительные руки, но, согласно старинной традиции, горцы всегда принимали в дом странников и старались щадить их гордость, предлагая хотя бы видимость работы, – если, конечно, не окажется, что человек этот к вам заслан теми, с кем вы враждуете. В таком случае его обычно вскоре находили мертвым где-нибудь за пределами ваших владений. Нам сразу же стало ясно, что Эммон совершенно не разбирается ни в лошадях, ни в овцах, ни в коровах, да и в земледелии ничего не смыслит. Но упряжь-то может чистить кто угодно, вот отец и определил его чистить упряжь, и он ее действительно чистил – время от времени. В общем, щадить его гордость оказалось совсем нетрудно.

Большую же часть времени он проводил со мной, или же мы сидели вместе с Грай в нашем любимом уголке у большого камина, а по другую сторону очага женщины, прявшие шерсть, без конца тянули свои длинные негромкие песни. Я уже рассказывал, какие мы примерно вели беседы с Эммоном. Надо сказать, беседы эти доставляли нам огромное удовольствие хотя бы потому, что он был из такого мира, где тревожившие нас проблемы не имели ни малейшего смысла, так что он бы, наверное, даже и не понял ни одного из наших мрачных вопросов, и мы не считали нужным их ему задавать.

Но когда он сам спросил, отчего у меня на глазах повязка, и я рассказал ему, что это отец запечатал мне глаза, он был настолько потрясен, что не рискнул расспрашивать дальше. Он, видно, почувствовал, что земля качнулась у него под ногами, как говорят у нас в горах, и не решился лезть дальше в это болото. Но слуг в доме он все же порасспросил, и они рассказали ему, что глаза молодому Орреку запечатали потому, что он обладает «диким даром» и способен невольно уничтожить любого человека, любую вещь, какая только попадется ему на глаза; мало того, они, похоже, рассказали ему даже и о Слепом Каддарде, и о том, как Канок совершил налет на Дьонет, а может, и о том, как умерла моя мать. Все это, должно быть, сильно поколебало его неверие в дары горцев, но, мне кажется, он продолжал считать, что в значительной степени это все-таки суеверия невежественных людей, попавших в ловушку собственных страхов.

Эммон очень привязался к нам с Грай; он искренне нам сочувствовал и понимал, как мы ценим его общество; я думаю, ему очень хотелось сделать для нас доброе дело – немного просветить нас. Когда же до него дошло, что я сам, по собственной воле, продолжаю оставаться слепым – он уже знал к этому времени, что глаза завязал мне мой отец, – он был по-настоящему потрясен.

– Зачем ты так поступаешь с собой? – спросил он. – Но ведь это сущее безумие, Оррек! В тебе нет ни капли зла. Ты и мухе не причинил бы вреда, даже если б смотрел на нее весь день!

Он был взрослым мужчиной, а я – мальчишкой; он был вором, а я – честным человеком; он повидал мир, а я его никогда не видел, но я куда лучше знал, что такое зло.

– Зла во мне сколько хочешь, – сказал я ему.

– Ну хорошо. Немного зла есть даже в самых лучших из людей, так не проще ли дать ему выход, признать его, а не лелеять его, не давать ему расти в темноте, или я не прав?

Его совет был дан исключительно из добрых побуждений, но для меня он оказался и оскорбительным, и болезненным. Не желая отвечать ему грубо, я встал, что-то сказал Коули и вышел из зала. Выходя, я слышал, как он сказал Грай: «Ах, да он уже и сейчас почти как его отец!» Что ответила Грай, я не знаю, но Эммон никогда больше не пытался давать мне советы насчет моей повязки на глазах.

Интереснее и безопаснее всего было разговаривать о том, как «обламывают» лошадей и приручают животных, или рассказывать друг другу разные истории. Эммон не слишком хорошо разбирался в лошадях, но повидал немало хороших коней в городах Нижних Земель и все же признал, что нигде кони не были так хорошо обучены, как у нас, даже старые Чалая и Грейлаг, не говоря уж о Звезде. Если погода была довольно приличной, мы выходили из дому и Грай показывала Эммону все чудеса выездки и аллюры, которым научила Звезду и о которых я знал только по ее описаниям. Я слышал, как Эммон громко восхищается, и представлял себе Грай верхом на Звезде – хотя, к сожалению, эту молодую кобылу я никогда и не видел. Я и Грай очень давно уже не видел и не знал, какой она стала сейчас.

Порой в голосе Эммона, когда он разговаривал с Грай, мне слышалась какая-то особая интонация, заставлявшая меня насторожиться, какая-то особая вкрадчивость, почти лстливость. Чаще всего, правда, он разговаривал с ней так, как мужчина и должен разговаривать с юной девушкой, почти девочкой, но иногда, видимо, забывался, – и голос его звучал так, как у мужчины, который пытается привлечь внимание понравившейся ему женщины.

Впрочем, его уловки ни к чему не приводили. Грай отвечала ему, как и подобает простой и грубоватой деревенской девчонке. Эммон ей нравился, но в целом мнения о нем она была не слишком высокого.

Когда шел дождь и дул ветер или над холмами поднималась пурга, мы просиживали в нашем уголке у камина почти весь день. Когда нам перестало хватать тем для разговоров – поскольку Эммон оказался довольно плохим рассказчиком и мало что мог поведать нам о жизни в Нижних Землях, – Грай попросила меня рассказать какую-нибудь историю. Ей нравились героические легенды «Чамбана», и я рассказал одну из них – о Хамнеде и его друге Омнане. Затем, подкупленный жадным вниманием своей аудитории – ибо прядильщицы тоже стали прислушиваться – перестали петь, а некоторые даже и прялки свои остановили, – я решил прочесть им еще и поэму из священных текстов храма Раниу, записанную для меня матерью. В поэме, правда, имелись небольшие пропуски – в тех местах, где Меле изменяла память, – и я, желая сохранить целостность повествования, сам заполнял их. Язык поэмы был настолько музыкальным, что я необычайно воодушевлялся каждый раз, когда читал ее, и сейчас мне казалось, что моими устами поет сам этот древний автор. Когда я наконец умолк, то впервые в жизни услышал ту тишину, которая служит рассказчику наивысшим вознаграждением.

– Клянусь всеми именами на свете! – воскликнул Эммон с восторгом и изумлением.

Со стороны прядильщиц тоже донесся восхищенный шепот.

– И откуда только ты узнал и эту историю, и эту старинную песнь? – искренне удивился Эммон. – Ах да, понимаю: от матери! Но неужели ты с одного раза сумел все так хорошо запомнить?

– Нет, конечно. Она все это записала для меня, – сказал я, не подумав.

– Записала? Так ты умеешь читать? – Эммон был потрясен. – Но ведь не с повязкой же на глазах ты читать учился!

– Да, я умею читать. И разумеется, когда я этому учился, глаза мои не были завязаны.

– Ну и память же у тебя, парень!

– Память – это глаза слепого, – сказал я с некоторой угрозой, чувствуя, что вел себя неосторожно и перешел все допустимые пределы, так что теперь мне лучше самому перейти к наступлению, пока не поздно.

– Значит, твоя мать учила тебя читать?

– И меня, и Грай.

– Но что же вы можете читать тут, в горах? Я у вас ни разу ни одной книги не видел.

– Мать сама написала для нас несколько книг.

– Ничего себе! Послушай, парень, у меня тоже есть одна книга... Я... Мне ее подарили – там, внизу, в столице. Я ее сунул в заплечный мешок на всякий случай, надеюсь, что она,

может, окажется ценной и я что-нибудь смогу за нее выручить. Но тут она, похоже, никому не нужна. Кроме вас с Грай. Надо, пожалуй, пойти да разыскать ее. – Эммон ушел и вскоре вернулся, сунув мне в руки какую-то коробочку или шкатулку, глубиной не больше вершка. Крышка шкатулки легко приподнялась, и под ней вместо пустоты я нащупал странную материю, похожую на шелковое полотно. И дальше было еще много таких же шелковистых кусочков, скрепленных с одного края, как в той книжке, которую сделала моя мать, но здесь полотно было гораздо тоньше и более гладкое, так что листать книгу было очень легко. Страницы эти казались очень хрупкими и прочными одновременно, и я с глубочайшим восхищением касался этого небывалого чуда. Мне страстно хотелось увидеть книгу, как следует разглядеть ее, но я протянул ее Эммону и попросил:

– Почитай немного, пожалуйста.

– Нет уж, пусть лучше Грай читает, – быстро сказал Эммон.

Я слышал, как Грай переворачивает страницы. Затем она с огромным трудом, по буквам, прочитала несколько слов и сдалась.

– Здесь даже буквы выглядят совсем иначе, чем в книжке Меле, – растерянно сказала она. – Они такие маленькие, черненькие и куда более прямые, чем у нее, и все похожи одна на другую.

– Это печать, – со знанием дела сообщил Эммон, но, когда я захотел узнать, что это такое и как печатают книги, объяснить как следует он не сумел. – Этим обычно священники занимаются, – сказал он. – У них есть такие специальные колеса вроде прессов в давилльне, знаешь...

Зато Грай постаралась как можно лучше описать мне эту книгу: ее крышка – Грай имела в виду переплет – была из кожи, вероятно телячьей, с плотными блестящими уголками, по краю тянулся красивый орнамент из золотых листьев, а в середине было красной краской написано какое-то слово.

– Она очень красивая, очень! – восхищалась Грай. – Это, должно быть, просто драгоценная вещь!

И она, наверное, протянула книгу Эммону, потому что он сказал:

– Нет-нет, это вам, тебе и Орреку. Если сумеете ее прочитать – отлично. А не сумеете, то, может, тут случится проходить кому-нибудь, кто умеет читать, а вы ему ее и покажете: пусть думает, что вы великие ученые. – Он, как всегда, весело рассмеялся, и мы стали благодарить его, а он снова вложил книгу в мои руки. Я прижал ее к себе. Это действительно была драгоценная вещь.

Утром, едва рассвело, я наконец снял повязку и увидел ее – и золотые листья, и написанное красным слово «Превращения». Я раскрыл книгу и увидел бумагу (которую все еще считал просто очень тонкой тканью), обворожительные, крупные и округлые буквы на титульной странице, маленькие черные печатные буковки, точно муравьи, расплзшиеся по каждому из этих белых листов... Все они были одинаково толстенькие и крепенькие. И я отчего-то представил себе ТОТ муравейник у тропы над Рябиновым ручьем и муравьев, вбегающих и выбегающих из него, спешащих по своим делам, и от охватившего меня отчаяния я ударил по этим «муравьям» всей своей силой – и рукой, и глазом, и словом, и волей, – но они по-прежнему расплзались кто куда и не обращали ни на меня, ни на мой дар ни малейшего внимания. Я закрыл глаза... Потом снова открыл. Книга по-прежнему лежала передо мной. И я прочел строчку: «Так, в молчании, принес он обет в душе своей...» Это было нечто вроде истории в стихах. Я медленно перелистал страницы, потом вернулся к самому началу поэмы и углубился в чтение.

Коули шевельнулась у моих ног и вопросительно посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. И увидел перед собой средних размеров собаку с плотной курчавой и довольно короткой черной шерстью, особенно мягкой на ушах и на длинной морде, с высоким умным лбом, ясными, внимательными, темно-кариыми глазами, смотревшими прямо мне в лицо.

Я был настолько возбужден и увлечен чтением, что совсем позабыл выставить Коули из комнаты, прежде чем снять с глаз повязку!

Коули встала, по-прежнему глядя прямо на меня. Она тоже несколько растерялась, но чувство собственного достоинства и ответственность передо мной не позволяли ей это показывать.

– Коули, дорогая, – сказал я ей дрожащим голосом и погладил по морде. – Это же я! – Она понюхала мою руку: да, это действительно был я.

Я опустился возле нее на колени и обнял ее. Мы с ней не слишком часто открыто проявляли свою любовь друг к другу, но на этот раз и она прижалась лбом к моей груди и замерла.

А я сказал:

– Коули, запомни: я никогда не причиню тебе зла!

Она это знала. И с готовностью посмотрела на дверь, словно говоря: «Так мне гораздо приятнее, но я все же готова выйти и подождать снаружи, если уж у нас так заведено».

– Не надо, Коули, останься, – сказал я ей.

И она, с облегчением вздохнув, легла возле моего стула, а я вернулся к чтению.

Глава 16

Вскоре после этого Эммон нас покинул. Хотя традиционное гостеприимство не позволяло Каноку хоть чем-то показать, что незваному гостю в доме уже почти и не рады, это было ясно и так. Действительно, в конце зимы и начале весны жизнь в Каменном Доме всегда становилась весьма скудной – куры не неслись, запасы колбасы и окороков давно подошли к концу, а скотины на убой у нас не было. Так что питались мы в основном овсяной кашей и сухими яблоками; единственной по-настоящему сытной пищей и лакомством у нас за столом были копченая или свежая форель или лосось. Рыбу мы ловили в Талом озере или в Рябиновом ручье. Наслушавшись наших рассказов о крупных богатых поместьях Каррантагов, Эммон, наверное, решил, что там его будут кормить лучше. Надеюсь, что он сумел туда добраться. Надеюсь также, что никто из Каррантагов не испробовал на нем свой дар.

Перед его уходом у нас с ним состоялся серьезный разговор. И Эммон говорил настолько серьезно, насколько это вообще было свойственно этому веселому легковесному человеку с чересчур ловкими руками. Он сказал, что мы с Грай непременно должны покинуть Верхние Земли.

– Ну что вас тут держит? – вопрошал он. – Ты, Грай, не желаешь, как требует того твоя мать, созывать зверей на заведомую смерть, и охотники считают тебя бесполезной. А ты, Оррек, продолжаешь носить свою проклятую повязку и в ней тоже, в общем, совершенно бесполезен для жизни в Каспромманте. Зато если ты, Грай, спустишься вниз и покажешь там, чему ты научила свою замечательную кобылу, то тут же запросто получишь работу у любого коневода, в любой конюшне – только выбирай. А ты, Оррек, при твоей способности помнить столько всяких сказок, песен и легенд и умении сочинять еще и свои собственные истории и стихи, и вовсе сразу поймешь, как ценится такое умение во всех городах и даже в столице. Там ведь люди специально собираются, чтобы послушать сказителей и певцов, и хорошо им платят; а многие богачи и вовсе держат таких исполнителей при себе, чтобы всегда иметь возможность послушать их и чтобы они выступали перед их высокопоставленными гостями. Ну а если ты сочтешь необходимым и впредь держать глаза завязанными – что ж, некоторые из этих сказителей и певцов ведь тоже слепы. Хотя я бы на твоём месте давно снял с глаз повязку и как следует разглядел то, что находится от тебя на расстоянии вытянутой руки. – И Эммон засмеялся.

В общем, ясным апрельским днем он ушел от нас дальше на север, беспечно махнув нам на прощание рукой. Он был одет в теплую куртку, подаренную ему Каноком, а за плечами у него висел его старый походный мешок, в котором лежали пара серебряных ложек из нашего буфета, позолоченная брошка из яшмы, самая большая драгоценность Рэб, и одна посеребренная уздечка из нашей конюшни.

– Он так ее ни разу и не почистил, – проворчал Канок, но не слишком сердито. Если берешь в дом вора, следует ожидать, что он что-нибудь у тебя украдет. Зато никогда не известно, что ты сам можешь выиграть от этого.

За все те месяцы, что Эммон прожил у нас, мы с Грай ни разу не поговорили друг с другом откровенно, как раньше. А некоторых тем старались и вовсе не касаться. Зима, как известно, время ожиданий, неопределенности, зато весной все, что мы держали про себя, вырывалось наружу.

– Грай, я видел Коули, – признался я, и хвост Коули тут же шевельнулся, стоило мне упомянуть ее имя. – Я забыл выставить ее за дверь. Я читал, потом опустил глаза и увидел ее; и она поняла, что я ее вижу. Так что... с тех пор я больше не выгоняю ее из комнаты.

Грай довольно долго молчала, потом спросила задумчиво:

– Значит, ты думаешь, это безопасно?

– Я не знаю. Ничего я не думаю!

Она снова помолчала, и я сказал:

– Я думаю, что когда я... когда мой дар стал развиваться неправильно и я не мог им управлять... Но я же пытался! Пытался – и не мог! Я злился, мне было стыдно, а отец все заставлял меня пробовать свою силу, но все равно ничего не получалось, и я злился все больше и все больше стыдился, пока это все не прорвалось наружу в виде «дикого дара». Так что, если я больше не стану и пробовать воспользоваться своим даром, возможно... все тогда будет в порядке.

И Грай спросила:

– Но когда ты убил ту гадюку... ты ведь сделал это случайно, да? Ты ведь тогда не призывал свой дар?

– Да нет, призывал. Он ведь никак не проявлялся, и я даже стал думать, что у меня его вообще нет. Но неужели все-таки именно я убил ту гадюку? Понимаешь, Грай, я столько раз думал об этом! Наверное, тысячу! Ну да, я применил тогда свой дар, но ведь и Аллок тоже это сделал, и мой отец тоже – и все трое почти одновременно. И Аллок тогда решил, что это я, потому что я первым увидел змею. А мой отец...

– Ему хотелось, чтобы это был ты?

– Да, наверное.

И, помолчав, я прибавил:

– Вернее, ему хотелось, чтобы я так думал. Он хотел придать мне уверенности. Впрочем, не знаю. Но я сразу сказал ему тогда, что ничего не почувствовал, и все пытался заставить его объяснить, на что это похоже, когда он пользуется своей силой, но он так и не сумел этого сделать. Но ты же знаешь, как это бывает! Не можешь не знать! Ты же чувствуешь, как эта сила проходит сквозь тебя. У меня так бывает, когда я чувствую, что могу сочинить стихотворение. Но когда я делаю так, как меня учил отец, когда я по всем правилам пробую воспользоваться своим даром, ничего не происходит, ничего! И я никогда ничего даже не чувствую!

– Ты ничего не почувствовал даже там, над Рябиновым ручьем?

Я колебался.

– Не знаю, – сказал я неуверенно. – Я был тогда страшно зол – на себя, на отца. И все произошло как-то странно. Я словно попал в бурю. Я все пытался ударить, и по-прежнему ничего не происходило, но потом вдруг налетел этот ветер, и, когда я открыл глаза, рука моя все еще указывала туда, где весь склон был изуродован, сожжен дотла, я вдруг решил, что это мой отец стоит передо мной, опаленный страшным пламенем... Но это оказалась та рябинка... А отец все это время стоял у меня за спиной.

– А как было с собакой? – через некоторое время шепотом спросила Грай. – С Хамнедой.

– Я сидел на Бранти, и он заартачился, встал на дыбы, стал лягаться, потому что Хамнеда вдруг откуда-то выскочил и с лаем бросился на него. Я помню только, что пытался удержать Бранти и сам на нем удержаться. Если я и посмотрел на Хамнеду, то случайно, я даже не заметил этого: мне было не до него. А отец верхом на Грейлаге был в это время у меня за спиной...

И я вдруг умолк.

И поднес руку к глазам, словно в ужасе желая прикрыть их, хотя они и так были закрыты повязкой.

– Значит, это мог быть... – начала Грай и тоже осеклась.

– Да, это мог быть он. Мой отец. Каждый раз...

– Но...

– Я это знал! Я все время это чувствовал! Но не осмеливался даже думать об этом. Он вынудил меня... поверить, что это сделал я. Что у меня есть этот проклятый дар! Что это я убил гадюку и несчастного Хамнеду, что я способен создать хаос. И мне пришлось верить в это, чтобы и другие тоже в это поверили. Чтобы все нас боялись и держались подальше от

границ Каспроманта! Разве не в этом смысл нашего дара? Разве он не для этого существует? Разве брантору он дан не для того, чтобы защищать своих людей?

– Оррек, – тихо сказала Грай, и я умолк. А она через некоторое время спросила шепотом: – Ну а Канок верит во все это?

– Не знаю.

– Он верит, что у тебя есть этот дар? Что этот дар действительно «дикий»? Ведь если...

И тут я не выдержал:

– Верит ли он? Знает ли он, что сам сделал все это, сам воспользовался своим даром, своей разрушительной силой, потому что у меня дара Каспро нет и никогда не было? Я ведь никого и ничего не могу уничтожить! Единственное, на что я действительно годен, – это служить пугалом для других. Огородным пугалом! «Эй, держитесь от Каспроманта подальше! Держитесь подальше от Слепого Оррека! Не то он как снимет с глаз повязку да как уничтожит все вокруг!..» Но только ничего я не уничтожу. Нет, Грай, не уничтожу. Я могу смотреть на что угодно. Я ничему не могу принести вреда. Знаешь, я ведь видел свою мать! Перед самой ее смертью. Я во все глаза смотрел на нее, и ничего страшного не случилось. И эти книги... И Коули... – Но продолжать я был не в силах: слезы, так и не выплаканные за эти черные годы, взяли надо мной верх, и я, уронив голову на руки, горько заплакал.

Коули тут же прижалась к моим ногам, точно желая меня утешить, а Грай ласково обняла меня за плечи. И я выплакал все, что так долго мучило меня.

В тот день мы больше не говорили. Я был измучен этим разговором и своими слезами. Грай нежно попрощалась со мной, легонько поцеловав меня в макушку, и я попросил Коули отвести меня в спальню. Лишь оказавшись там, я понял, что повязка у меня на глазах мокра насквозь и горяча от слез, и сорвал ее. Золотистый свет апрельского дня заливал комнату; я не видел весеннего солнца целых три года и тупо смотрел на золотистые лучи, на пляшущие в них пылинки. Потом лег на кровать и закрыл глаза, вновь провалившись в темноту.

На следующий день в полдень Грай снова приехала к нам. Я с завязанными глазами стоял на крыльце, а Коули бегала по двору, когда раздался легкий стук копыт Звезды.

Мы с Грай сразу пошли за дом и через сад и огород вышли в поле. Там, подальше от дома, мы уселись на поваленное дерево, давно ждавшее, когда дровосек его распилит, и Грай сразу спросила:

– Оррек, неужели ты думаешь... что этого дара у тебя нет?

– Я это знаю.

– Тогда я хочу попросить тебя вот о чем: посмотри на меня, пожалуйста.

Мне понадобилось некоторое время, чтобы справиться с собой. Но я все же поднял руки и развязал концы повязки. Потом посмотрел на свои руки. Яркий свет слепил меня, голова немного кружилась, и перед глазами мелькали светлые и темные тени. Все вокруг казалось мне очень ярким, подвижным, сверкающим. Я поднял глаза и посмотрел на Грай.

Она оказалась довольно высокой, с тонким продолговатым лицом; у нее был довольно крупный, но красиво очерченный рот и темные глаза с очень чистыми белками под дугами черных бровей. Блестящие черные волосы тяжелой волной падали ей на спину. Я протянул к ней руки, и она ласково их сжала. А я, прильнув лицом к ее рукам, прошептал:

– Ты прекрасна!

Она наклонилась, поцеловала меня в волосы и снова села очень прямо, серьезная, строгая и нежная.

– Оррек, – сказала она, – что же нам делать?

– Еще год я буду просто смотреть на тебя, – ответил я, – а потом я намерен на тебе жениться!

Этого она не ожидала; чуть запрокинув назад голову, она рассмеялась и сказала:

– Ну хорошо! Хорошо! А сейчас?

– А что сейчас?

– Как нам быть сейчас? Если я уже сейчас не хочу использовать свой дар, а ты...

– Вообще не имею никакого дара!

– Но тогда кто же мы теперь такие?

На этот вопрос я не мог ответить столь же легко. Я задумался и наконец промямлил:

– Я должен поговорить с отцом.

– Погоди немного. Мой отец сегодня приехал к вам, чтобы с ним повидаться. Мать вчера вернулась с гор и говорит, что Огге Драм заключил перемирие со старшим сыном и теперь ссорится с младшим. Ходят слухи, что Огге задумал налет – возможно, на Роддмант или на Каспромонт: он хочет вернуть тех белых коров, которых, как он утверждает, Канок украл у него три года назад. Значит, либо наше стадо, либо ваше в опасности. Мы с отцом по дороге сюда встретили Аллока. Все ваши люди сейчас собрались на северных пастбищах – решают, как быть.

– И какую же роль отвели мне?

– Не знаю.

– Что хорошего в вороньем пугале, которого и вороны-то не боятся?

Грай не ответила. Должен сказать, что даже эти новости, как бы они ни были плохи, не сумели омрачить мне душу. Во всяком случае, пока я мог видеть Грай, видеть солнечный свет на редких цветах, распустившихся на старых яблонях с потрескавшимися стволами, видеть далекие бурые склоны гор.

– Я должен поговорить с ним, – повторил я. – А пока, может быть, мы просто погуляем?

Мы дружно встали. Коули тоже встала и стояла, чуть склонив голову набок и озабоченно на меня глядя, точно спрашивая: «А я как? Я участвую в ваших планах?»

– Ты пойдешь с нами, Коули, – сказал я ей, отстегивая поводок. И мы пошли знакомой тропой вдоль небольшого, но шумливого ручья, и каждый шаг приносил мне радость и удовлетворение.

В тот день Грай уехала пораньше, чтобы добраться домой до темноты. Канок вернулся уже затемно. Раньше, если ему случалось задержаться на дальних пастбищах, он оставался ночевать у кого-то из фермеров, где ему всегда были рады, изо всех сил старались его угостить повкуснее и непременно обсудить с ним всякие хозяйственные дела. Когда-то, до того как глаза мои оказались скрыты повязкой, я часто ночевал вместе с ним у фермеров. Но в последние годы он всегда уезжал один и как можно раньше, с рассветом, а возвращался порой за полночь, работая не покладая рук и прямо-таки изнуряя себя работой. Я понимал, что отец страшно устал, да и новости насчет Огге Драма настроение ему вряд ли улучшили, но при теперешних обстоятельствах мне отчего-то жалеть его совсем не хотелось.

Войдя в дом, отец поднялся наверх, и я даже не сразу заметил его приход, потому что сидел в своей комнате и читал. Я растопил камин, так как вечер оказался холодным, зажег от огня в камине свечу, украденную на кухне, и храбро раскрыл «Превращения» Дениоса – книгу, которую нам с Грай подарил Эммон.

Поняв, что дом затих, а женщины наконец-то убрались из кухни, я завязал глаза и попросил Коули отвести меня в материну комнату.

Что думала бедная собака, видя меня то слепым, то зрячим, я не знаю, но, будучи собакой, она все же предпочитала действовать, а не задавать вопросы.

Я постучался и, не получив ответа, стянул с глаз повязку и заглянул внутрь. Масляный светильник на каминной полке давал совсем мало света и немного коптил. Камин был темен, и от него пахло чем-то кислым, – видимо, его не разжигали давным-давно. В комнате было холодно, и выглядела она заброшенной и неудобной. Канок лежал на кровати и крепко спал. Лежал он на спине, одетый, явно рухнув на кровать от усталости и с тех пор ни разу не поше-

велившись. Впрочем, он успел все же укрыться – старой коричневой шалью моей матери. И пальцы его даже во сне крепко сжимали бахрому. Я ощутил такой же болезненный укол в сердце, как и в прошлый раз, когда нашел эту шаль на спинке кровати. И все-таки сейчас я не мог позволить себе жалеть отца. Мне нужно было свести с ним счеты, и я боялся, что мне не хватит для этого мужества.

– Отец! – окликнул я его! – Канок!

Он приподнялся, опираясь на локоть, прикрыл глаза ладонью от света и мутным взглядом уперся в меня.

– Оррек?

Я подошел ближе: пусть удостоверится, что это я.

Он никак не мог проснуться и довольно долго моргал и тер глаза; он даже губу прикусил, чтобы очнуться ото сна. Потом снова изумленно посмотрел на меня и спросил:

– А где твоя повязка?

– Я не причиню тебе зла, отец.

– А я никогда и не думал, что ты можешь причинить мне зло, – сказал он все еще удивленно, но вполне уверенно.

– Вот как? Значит, ты никогда по-настоящему не боялся моего «дикого дара»?

Отец сел, спустил ноги с кровати, покачал головой, взъерошил волосы и снова посмотрел на меня.

– В чем дело, Оррек?

– А дело в том, отец, что этого вашего «дикого дара» у меня никогда и не было! Ведь не было, правда? У меня вообще никакого такого дара нет. И змею я никогда не убивал, и собаку тоже. Это все ты!

– Что ты такое говоришь, Оррек?

– Ты обманом заставил меня поверить в то, что и у меня тоже есть дар рода Каспро, просто я пока не умею им управлять. Так тебе проще было использовать меня. Да и стыдиться не пришлось, из-за того что я лишен этого дара, из-за того что я позорю твой род, из-за того что я сын каллюки!

Канок вскочил. Я думал, он меня ударит, но он даже ничего не сказал, лишь ошеломленно смотрел на меня.

– Да если бы у меня был этот дар, – продолжал я, – неужели я бы его сейчас не применил? Неужели не показал бы тебе, какие потрясающие вещи могу делать с его помощью? Как замечательно могу убить, уничтожить все что угодно? Но у меня этого дара нет. Я не унаследовал его от тебя. Ты дал мне только эти три года слепоты!

– Сын каллюки? – словно не веря собственным ушам, повторил он шепотом.

– Неужели ты думаешь, я ее не любил? Но ты не позволял мне ее видеть! Весь год! И только когда она уже умирала, один лишь раз... А все потому, что тебе нужно было поддерживать созданную тобой ложь!

– Я никогда не лгал тебе, – сказал он. – Я думал... – И он умолк. Он все еще был слишком потрясен моими словами, чтобы как следует рассердиться.

– Да, и еще Рябиновый ручей! Неужели ты веришь, что это сделал я?

– Да, – сказал он. – Я такой силой не обладаю.

– Обладаешь! Еще как обладаешь! И тебе это прекрасно известно! Ведь проложил же ты тогда целый ров через всю рощу вдоль границы. И это ты убил на месте тех людей в Дьюнете. Ты-то сполна обладаешь даром Каспро! А у меня его нет совсем. Ни капли. И все это время ты обманывал меня. Возможно, ты обманывал и самого себя, потому что тебе невыносима была мысль, что твой сын не такой, как ты. Не знаю. Не уверен. И вообще, мне все равно. Я знаю одно: больше ты мной пользоваться не будешь! Ни моим «диким даром», ни моей вынужденной слепотой. Все это моя беда. И я не позволю тебе и дальше морочить мне голову.

Я не позволю твоему стыду пробуждать и во мне чувство собственной неполноценности. Найди себе другого сына, если я для тебя недостаточно хорош!

– Оррек, – сказал он, точно человек, сбитый с ног ураганом.

– Вот, возьми! – Я швырнул свою повязку на пол к его ногам, с грохотом захлопнул за собой дверь и бросился вниз по винтовой лестнице. Бедная Коули, совершенно ничего не понимая, понеслась за мной следом, пронзительно и предупреждающе лая, и нагнала меня уже в самом низу лестницы, тут же схватив за край килта зубами. Я погладил ее по спине, неторопливо перебирая пальцами мягкую шерсть и желая немного успокоить. Она действительно перепугалась, она даже зарычала разок. Потом мы вместе пошли в мою комнату, я закрыл дверь, а Коули легла на пороге. Не знаю уж, то ли она решила сторожить меня, то ли хотела помешать мне снова выйти из комнаты.

Я растопил потухший камин, зажег свечу и уселся за стол. Книга, написанная великим поэтом, по-прежнему лежала на столе – настоящее сокровище, сулящее радость и утешение. Но сейчас я не мог читать ее. Да, я вернул себе свои глаза, но что я теперь должен был с ними делать? Что в них было хорошего? И что хорошего было во мне самом? «Кто же мы теперь такие?» – спросила тогда Грай. Если я не сын своего отца, то кто же я тогда?

Глава 17

Рано утром я вышел из своей комнаты и спустился вниз, не надев на глаза повязку. Как я и думал, женщины тут же подняли крик и бросились наутек. Одна Рэб не убежала и упрекнула меня дрожащим голосом:

– Оррек, ты перепугал всех девушек на кухне!

– А нечего меня бояться! – с вызовом сказал я. – Ну чего вы боитесь? Я не могу причинить вам никакого вреда. Разве ты боишься Аллока? А ведь у него дар Каспро куда сильнее, чем у меня! Скажи всем: пусть ничего не опасаются и возвращаются назад.

Как раз в эту минуту по винтовой лестнице из башни спустился Канок. Он посмотрел на нас, и лицо у него было как каменное, когда он сказал:

– Оррек говорит, что его бояться не нужно? Да, Рэб, это правда. И вы все должны верить его слову, как верю ему я. – Канок говорил медленно, с трудом. – Просто вчера вечером Оррек не успел сказать вам об этом. Кстати, я уезжаю. Тернок считает, что его стаду белых коров грозит реальная опасность со стороны Драмманта. Я еду к нему. Мы вместе будем дежурить у границ его владений.

– Я тоже могу поехать, – тут же вызвался я.

Канок постоял в нерешительности, с тем же безучастным выражением на лице, потом сказал:

– Как хочешь.

Мы взяли с собой на кухне сыра и хлеба, рассовали все это по карманам, чтобы потом поесть на ходу, и отправились в путь. Оружия у меня никакого не было, кроме посоха Слепого Каддарда, довольно неудобной вещи при поездке верхом. Канок кинул мне свой длинный охотничий нож, и я отнес посох на прежнее место в вестибюле. Отец сел на Бранти, а я – на Грейлага; Чалая уже с марта мирно паслась за домом на лужайке, на ней больше уже никто не ездил. Аллок встретил нас во дворе; отец, оказывается, еще вчера попросил его далеко от дома не отлучаться, внимательно посматривать по сторонам и на всякий случай собрать всех мужчин, способных сражаться. Увидев меня без повязки, Аллок так и застыл на месте, но быстро отвел глаза и ничего не сказал.

Мы довольно резво скакали в сторону Роддманта – то есть «резво» настолько, насколько это мог себе позволить старый Грейлаг, – и оба хранили молчание.

Между тем я наслаждался возвращенной мне возможностью видеть весь этот яркий мир, чуть покачивавшийся в такт лошадиному аллюру, вытирать с глаз слезы, вызванные порывом ветра, скакать верхом и не бояться упасть. Скакать, возможно, навстречу опасности, как и подобает мужчине, чтобы помочь другу охранять границы его владений; скакать рядом с человеком, который славится своей храбростью и сидит в седле так, что невольно залюбуешься, – прямо и непринужденно. Канок на рыжем Бранти, и впрямь ставшем отличным жеребцом, выглядел сейчас действительно потрясающе. На меня он не взглянул ни разу и все время смотрел прямо перед собой.

Близ юго-западной границы Роддманта мы встретились с Терноком, который дежурил там с рассвета. Прошлой ночью сын одного из фермеров принес ему весть, переданную по цепочке, что в этом направлении по лесной тропе через Геремант движется целый отряд вооруженных всадников.

Тернок и его спутники удивленно на меня посмотрели, но, как и Аллок, никаких вопросов задавать не стали. Они, несомненно, считали или надеялись, что я научился сдерживать свою силу.

– Вот бы старый Эррой заметил, как люди Драма крадутся по его территории, да и в штопор их завернул! – неуклюже пошутил Тернок, но Канок на его шутку не откликнулся.

Вялым он отнюдь не выглядел, просто был как бы далеко от нас, погруженный в собственные мысли, и говорил, только если нужно было подтвердить, что он слышал сказанное ему.

Пока нас было восемь человек, но ожидалось, что вскоре придут еще четверо наших фермеров. Согласно плану Тернока, мы должны были разъехаться на расстояние окрика друг от друга и быть настороже. В тех местах, где встреча с людьми Драма представлялась наиболее вероятной, на страже предстояло стоять Терноку и Каноку. И тем из нас, кто был вооружен только ножом или коротким копьём для охоты на кабана, следовало держаться к ним поближе, а двое мужчин с дальнобойными луками заняли крайние позиции.

Итак, мы рассредоточились, укрывшись в заросших травой болотистых низинках и за небольшими холмиками вдоль опушки редкого леса. Слева от меня был один из фермеров Тернока, справа – Канок. Мы должны были держать друг друга в пределах видимости, что мне оказалось легко, потому что мне отвели место на одном из холмов и у меня был прекрасный обзор в обе стороны, а также в сторону леса. Я мог также видеть и Тернока, занявшего позицию на небольшом холме рядом с Каноком. Было уже позднее утро, но день выдался пасмурным и холодным; то и дело принимался накрапывать дождь. Я слез с Грейлага, чтобы дать ему отдохнуть и попасться, и стоял, внимательно поглядывая по сторонам. Поглядывая! Пользуясь собственными глазами! Теперь я приносил пользу, я перестал быть каким-то нелепым кулем в повязке на глазах, который влекут за собой девочка и собака! Ну и что, если у меня нет никакого дара? Зато у меня есть отличное зрение, и гнев, и острый нож!

Час шел за часом. Я съел весь хлеб и весь сыр и жалел, что еды не было в два раза больше. Или даже в три раза.

Время тянулось томительно; я чувствовал себя сонным и глупым и уже не понимал, зачем стою вместе со своим старым конем на холме, ожидая неизвестно чего.

Близился вечер. Солнце уже склонилось к западным холмам. Я топтался на своем наблюдательном посту, старательно вспоминая начальные строфы «Превращений», а также те религиозные поэмы, которые записала для меня мать, и тщетно мечтал раздобыть где-нибудь хоть немного еды.

Я видел маленькую фигурку в черной куртке чуть левее подножия холма – это был мой сосед, фермер. Устав ждать, он присел на кочку, а его лошадь паслась рядом. Справа от меня, на опушке леса, виднелась еще одна фигурка в черной куртке – мой отец верхом на рыжем Бранти. Он то въезжал в лес, то снова выезжал на опушку. Наблюдая за отцом, я заметил, что к нему движутся еще какие-то людские фигурки; они ловко пробирались среди деревьев и все были пешими. Некоторое время я тупо следил за ними, а потом заорал что было сил:

– Канок! Прямо перед тобой! – и бросился к Грейлагу, так его перепугав, что старый конь даже шарахнулся от меня, и я не сразу смог схватить его за поводья. Я неловко вскочил в седло и погнал Грейлага вниз по склону холма, нещадно лупя его пятками в бока.

Канок я из виду, разумеется, тут же потерял, как и тех людей, что крались к нему. Я даже стал сомневаться: а действительно ли я их видел? Грейлаг поскользнулся, потом споткнулся – этот склон оказался для него слишком крут. Когда я наконец добрался до относительно ровной поверхности, там оказалось болото. Никого впереди видно не было. Я изо всех сил понукал Грейлага, направляя его к лесу, и наконец я выбрался на относительно сухой участок земли. И только тут я заметил, что Грейлаг хромает на левую переднюю ногу. Чтобы лучше рассмотреть ее, я склонился с седла и вдруг увидел за деревьями человека с луком. Он натянул тетиву и целился куда-то вправо. Не тратя времени на раздумья, я погнал коня прямо на него, громко крича. Старый жеребец, совершенно не привыкший к сражениям, попытался свернуть, чтобы не налететь на человека, но не успел и сбил его с ног ударом заднего копыта. Потом он понесся напрямик в лес, и мы наткнулись на мертвеца. Этот человек лежал на земле и был вспорот вдоль так, как вспарывают ножом дыню. Потом нам попался еще один, похожий на

бесформенную кучу мусора, – этот был в черной куртке. Грейлаг, прижимая от ужаса уши и прихрамывая, выбежал из леса на открытое пространство.

И тут впереди я увидел отца. Он разворачивал Бранти к лесу. Его вытянутая вперед левая рука была высоко поднята, лицо пылало огнем гнева и радости. Вдруг выражение его лица изменилось, и он некоторое время смотрел в мою сторону – не знаю уж, видел он меня или нет, – а потом как-то странно соскользнул с седла, клонясь вперед и вбок. Я решил, что это он нарочно, но не понял, зачем это ему понадобилось. Тем более что и Бранти стоял спокойно, как полагается. И тут я услышал, как кто-то кричит у меня за спиной и слева, все понял и бросился к упавшему отцу, мигом спешившись. Он лежал рядом с конем на болотной траве, и между лопаток у него торчала арбалетная стрела.

Тернок был уже там, и другие люди тоже, и все они, собравшись вокруг отца, что-то кричали. Потом кто-то бросился в лес, а Тернок опустился рядом со мной на колени, слегка приподнял голову отца и сказал:

– Ох, Канок, Канок, дружище, ты ведь этого не сделаешь, правда?

Я спросил:

– Огге мертв?

– Не знаю, – ответил Тернок и огляделся. – Эй, помогите-ка нам!

Но люди словно не слышали; они все еще что-то громко обсуждали, спорили, кричали...

– Это он, он! – крикнул один и бросился к нам, так размахивая руками, что Бранти заржал и попятился. – Валяется там, гадюка жирная! Совершенно выпотрошенный! И сынок его, этот гнусный коровий вор, рядом!

Я встал и подошел к Грейлагу. Тот стоял, приподняв больную переднюю ногу. Я подвел его к Бранти и, придерживая обеих коней, спросил у Тернока:

– Можем мы посадить его на рыжего?

Тернок поднял на меня глаза, вид у него был до крайности растерянный.

– Я хочу отвезти его домой, – пояснил я. – Скажи, можем мы посадить его на Бранти?

Вокруг снова закричали, на этот раз еще громче, кто-то подъезжал к нам, снова уезжал, и наконец принесли доски, служившие мостками через ручей. Канока уложили на эти доски и понесли вверх по склону холма в Роддмант. Они смогли положить его на спину, потому что арбалетная стрела пробила ему грудь насквозь и примерно на фут торчала теперь спереди. Я шел с ним рядом. Его лицо было спокойным и неподвижным, и мне не хотелось закрывать ему глаза.

Глава 18

Кладбище Каспроманта расположено на склоне холма к югу от Каменного Дома и смотрит в сторону бурых отрогов горы Эйрн. Мы похоронили Канок рядом с Меле. И прежде чем его опустили в могилу, я укрыл его коричневой шалью моей матери. На этот раз оплакиванием руководила не Парн, а Грай.

Свой налет на стадо Роддманта Огге Драм организовал так же плохо, как и ту охоту на кабана. Налетчики разделились на две группы; одна направилась напрямиком в Геремант и вышла к нашим границам; но сделать они ничего не сумели, разве что один амбар подожгли, и их тут же отогнали наши фермеры. Огге и Харба тем временем оставались на лесной тропе, а с ними еще человек десять, из которых пятеро были лучниками. С помощью своего дара Канок уничтожил Огге, его сына Харбу и одного из лучников. Остальным удалось сбежать. Сын одного из фермеров Роддманта бросился за ними в погоню и слишком далеко забрался в лес, где они на него и напали. Он успел ранить одного своим коротким копьем для охоты на кабана, но их было значительно больше, они повалили его на землю и убили. В общем, налет закончился пятью смертями.

Через некоторое время из Драмманта пришла весть о том, что вдова Огге, Денно, и ее младший сын Себб хотят положить конец разгоревшейся междоусобице и просят в знак примирения прислать им белого теленка, когда-то обещанного им Канок. Сами же они прислали в Каспромонт с гонцом отличного чалого жеребчика. Я поехал в Драммант вместе с теми, что повели туда белого бычка.

Было странно увидеть этот дом, в котором я бывал, но которого никогда не видел. И встречаться с людьми, которых я знал только по голосам. Но ничто не всколыхнулось в моей душе при виде Драмманта и его обитателей. Я сделал там свое дело и с чистой совестью поспешил домой.

Чалого жеребчика я отдал Аллоку. Сам я теперь ездил на Бранти, ибо во время того слишком поспешного спуска с холма Грейлаг так сильно повредил себе ногу, что вылечить ее оказалось невозможно, и теперь он вместе с Чалой пасся рядом с домом на зеленой лужайке. Я почти каждый день ходил навещать их с мерой овса. Я видел, как им хорошо вместе; они часто стояли, тесно прижавшись друг к другу боками, как делают все лошадиные пары, чуть отвернув морды и помахивая хвостом, чтобы отогнать назойливых майских мух. Приятно было видеть их такими спокойными и довольными.

Коули всегда сопровождала меня – бежала следом, шел ли я пешком или же ехал верхом.

У нас в горах существует обычай: после смерти хозяина в течение полугода ничего не продавать, не делить собственность, не заключать браков и не затевать никаких особых дел или перемен. Все должно идти так, как шло раньше. А уж после этого можно снова браться за любое дело. По-моему, неплохой обычай. Вот только в том, что касается перемирия с Драммантом, мне пришлось действовать немедленно; но это того стоило.

Управлял поместьем теперь фактически Аллок, а я ему помогал, хотя он-то считал, что это он помогает мне, сыну покойного брантора. Но именно он всегда знал, что и как нужно сделать по хозяйству. Ведь я целых три года почти не участвовал в жизни Каспроманта, а до того и вовсе был ребенком. Аллок хорошо знал здешних людей, неплохо разбирался в земледелии и скотоводстве, отлично ладил с лошадьми. Я в этом отношении ему в подметки не годился.

К сожалению, Грай совсем перестала приезжать в Каспромонт. Теперь уже я ездил в Роддмант раз пять-шесть в месяц. Мы частенько сидели все вместе с Терноком и Парн, если Парн, разумеется, была дома. Тернок всегда радовался моему приезду и крепко обнимал меня, называя сыном. Он всегда очень любил Канок, искренне восхищался им и горько оплакивал его гибель. И теперь он, как мне казалось, все пытался поставить на его место меня. Парн, как

и прежде, осталась немногословной и словно напряженной. Поговорить наедине нам с Грай доводилось редко; она была со мной очень нежна, но стала какой-то уж больно застенчивой. Порой нам все же удавалось поехать покататься – она ездила на Звезде, а я на Бранти, – и мы с удовольствием позволяли нашим молодым лошадам пробежаться по холмам.

Лето было чудесное, и урожай мы собрали хороший. К середине октября поля совсем опустели. Как-то раз я приехал в Роддмант и спросил у Грай, не хочет ли она прокатиться со мной. Она оседлала свою хорошенькую кобылу, которая так и приплясывала от нетерпения, и мы поехали вверх по ущелью, залитому солнечным светом.

У озера под водопадом мы отпустили лошадей пастись – на берегу трава была еще сочной и зеленой, – а сами уселись на согретые солнцем камни у воды. Ветви черных ив колыхались на ветру, как всегда, дувшем от водопада. Но голоса нашей знакомой птички слышно не было.

– Вскоре мы, наверно, поженимся, Грай, – сказал я, – но я не знаю, что мы можем сделать еще...

– И я тоже, – призналась она.

– Ты хочешь остаться здесь?

– В Роддманте?

– Да. Или в Каспромманте.

Она помолчала и сказала:

– Но если мы не останемся, куда ж нам деваться?

– Знаешь, я вот что придумал: в Каспромманте ведь сейчас нет брантора, и Аллок, по моему, как раз подходящий на эту роль человек. Он вполне способен управлять нашим поместьем. К тому же он мог бы присоединить его к Роддманту и оказаться как бы под защитой у твоего отца. Да и опыта бы у него заодно поднабрался. По-моему, это устроило бы их обоих. Между прочим, Аллок через месяц женится на Рэб. Пусть им достанется наш Каменный Дом. Возможно, у их сына еще проявится настоящий дар Каспро...

– А ты тогда мог бы жить в Роддманте, с нами вместе, – сказала Грай.

– Мог бы.

– А ты не хочешь?

– А ты хочешь, чтобы я тут жил?

Она молчала.

– Что мы будем тут делать? – спросил я.

– То же, что и сейчас, – ответила она, хотя и не сразу.

– А тебе не хотелось бы уехать отсюда?

Сказать это вслух оказалось куда труднее, чем я ожидал, хотя я столько раз думал об этом.

– Уехать? Куда же?

– В Нижние Земли.

Она молчала. И, глядя на подернутую рябью сверкающую воду, словно видела что-то, невидимое мне.

– Эммон хоть и стащил наши ложки, но, скорее всего, сказал правду. Наши с тобой таланты здесь совершенно бесполезны, а там, внизу, возможно...

– Наши таланты... – эхом откликнулась она.

– У каждого из нас есть свой дар, Грай.

Она глянула на меня. Потом кивнула, соглашаясь.

– А в городе Деррис-Уотер у меня, возможно, есть дедушка и бабушка, – сказал я.

Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Это ей в голову не приходило. Она даже засмеялась от неожиданности.

– Ну да, наверное! И ты войдешь к ним, этакий дикий горец, и скажешь: «Здравствуйте! Я – ваш внучок из породы горных колдунов!» Ох, Оррек! Неужели ты думаешь, что они тебе поверят?

– Сперва, возможно, и нет. Возможно, они сочтут мои слова странными, но у меня есть еще это. – И я вынул и показал ей тот маленький опал, что после смерти матери всегда носил на шее. – И я помню все, что мне рассказывала Меле... Знаешь, я бы очень хотел туда отправиться.

– Правда? – Глаза ее вдруг засияли. Она минутку подумала и сказала: – Как ты считаешь, мы сумеем прожить, если будем зарабатывать себе на жизнь так, как предлагал Эммон? Нам ведь придется самим себя содержать.

– Ну попробовать-то всегда можно.

– А что, если у нас не получится? Мы ведь будем там чужаками!

Жителей гор всегда больше всего страшит именно это: возможность оказаться среди чужих людей. С другой стороны, кого не страшит участь чужака?

– Ничего, мы проживем. Ты будешь учить их лошадей. Я буду рассказывать им стихи и сказки. Если мы им не понравимся или они не понравятся нам, мы всегда можем пойти дальше. Или, в крайнем случае, даже вернуться домой.

– Мы могли бы дойти даже до берега океана... – мечтательно сказала Грай, словно видя перед собой далекую даль сквозь просвеченные солнцем ветви ив. Потом она просвистела три знакомые ноты, и птичка сразу ответила ей.

Верхние Земли мы покинули в апреле. И здесь я, пожалуй, поставлю точку в нашей истории. Мы спустились вниз по южной дороге, выходящей среди холмов. Нас было видно издали – молодого человека верхом на высоком рыжем жеребце и молодую женщину верхом на веселой гнедой кобыле. Перед ними бежала черная собака, а сзади мирно брела одна из самых красивых коров на свете. Ибо в качестве свадебного подарка от всего Каспроманта нам преподнесли Серебряную Корову. Мы, правда, сперва просто не представляли, что будем с ней делать, но Парн напомнила нам, что в случае чего эту корову можно продать в Дьюнете за очень приличную сумму, – там еще хорошо помнят белых коров Каспроманта.

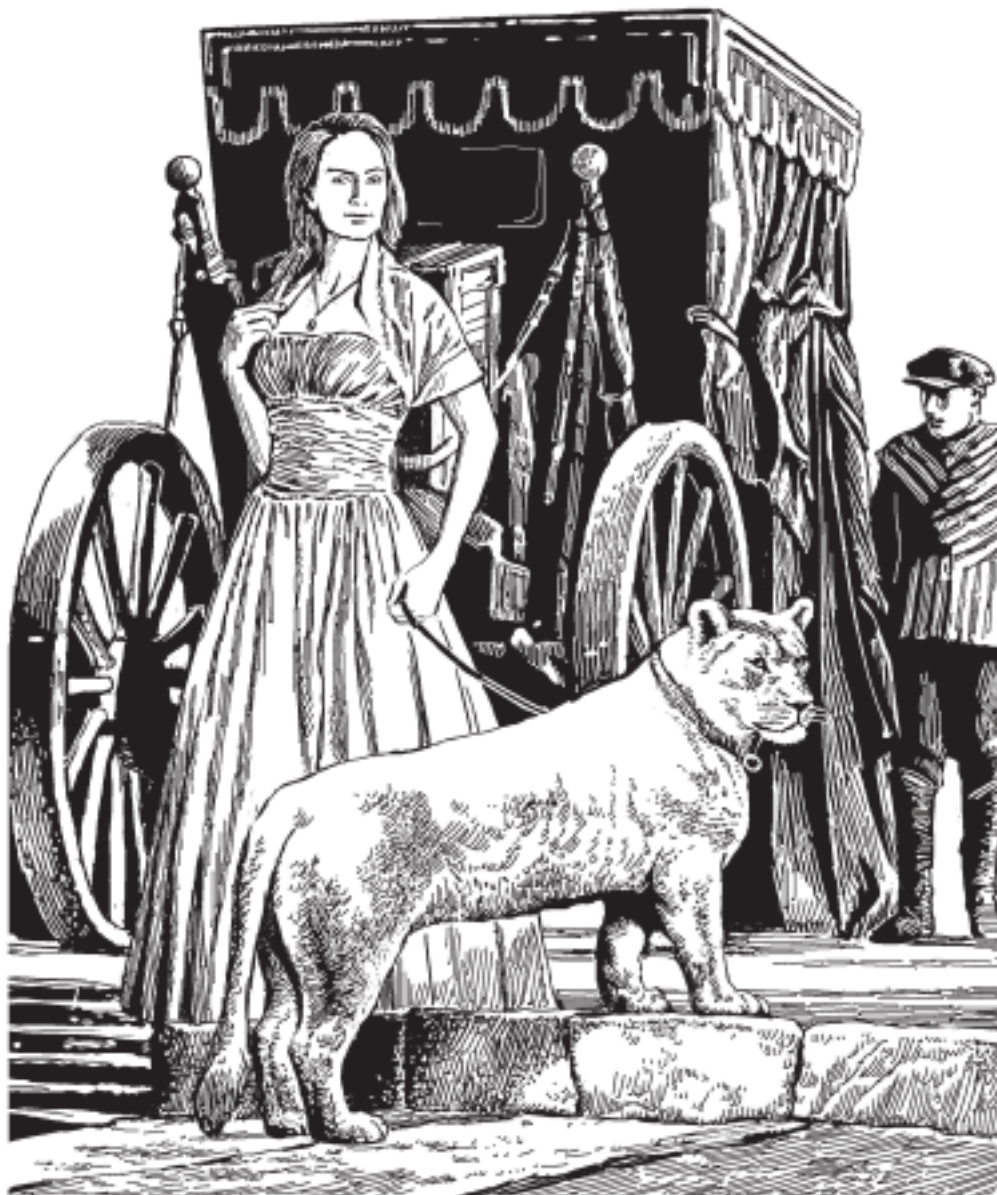
– Может быть, они вспомнят и ту женщину, которую отдали тогда Каноку, – сказал я, и Грай откликнулась:

– И поймут, что ты и есть тот самый «дар дара».

Голоса

*Как во тьме ночи зимней
Глаза наши света жаждут,
Как в оковах смертного хлада
Наше сердце к теплу стремится,
Так, ослепнув, шевельнуться не смея,
К тебе наши души зывают:
Стань нам светом, огнем и жизнью,
Долгожданная наша свобода!*

Гимн Оррека Каспро



Глава 1

Одно из самых первых отчетливых воспоминаний – как я пишу на стене знаки, позволяющие войти в тайную комнату.

Я такая маленькая, что мне приходится вставать на цыпочки и тянуться изо всех сил, чтобы изобразить эти знаки в нужных местах на стене коридора, покрытой толстым слоем серой штукатурки. Штукатурка потрескалась и местами осыпалась так, что проступает каменная кладка. В коридоре почти темно. Пахнет землей и древностью; там всегда царит тишина. Но я не боюсь; я там никогда ничего не боюсь. Я встаю на цыпочки, и мой указательный палец рисует в нужном месте давно знакомые знаки – рисует их в воздухе, почти не касаясь оштукатуренной стены. И в стене открывается дверь, и я вхожу.

Свет в этой комнате ясный и спокойный, он падает сверху, с потолка, из множества маленьких окошек с толстыми стеклами. Потолок здесь очень высокий, и сама комната очень большая, вытянутой формы; вдоль стен от пола до потолка книжные шкафы, а в них – книги. Это МОЯ комната, это я всегда знала. А Иста, Соста и Гудит – нет. Они не знают даже, что там вообще есть какая-то комната. Они никогда не заходят в коридоры, расположенные в самой дальней части нашего дома. Чтобы попасть в тайную комнату, мне нужно пройти мимо двери, ведущей в покои нашего Лорда-Хранителя, но он болен, хром и оттуда почти не выходит. Эта комната – мой самый главный секрет, только там я могу побыть одна, только там меня никто не будет бранить, никто не будет мне надоедать, и только там мне можно никого не бояться.

Я помню, что ходила туда не однажды, а много, много раз. Каким же огромным казался мне тогда стол для чтения! А какими высокими были книжные шкафы! Мне нравилось, забравшись под стол, строить себе домик со стенами из книг и делать вид, будто я медвежонок в берлоге. Там я чувствовала себя в полной безопасности. А книги я потом всегда ставила точно на те же полки и на те же места; это было очень важно. Играла я в наиболее светлой части комнаты, ближе к двери, хотя, собственно, никакой двери там и не было. А дальний конец комнаты я не любила: там было гораздо темнее и потолок был значительно ниже. Про себя я называла тот конец комнаты «темным» и старалась держаться от него подальше. Но даже этот страх перед темнотой, сгущавшейся в дальнем конце комнаты, был как бы частью моей великой тайны, моего царства одиночества. И это царство принадлежало мне одной, пока однажды – мне было тогда девять лет – я не поняла, что жестоко ошибалась.

В тот день Соста долго бранила меня из-за какой-то ерунды, в которой я, кстати, и виновата-то не была. Я в ответ сказала ей какую-то грубость, а она обозвала меня «кучерявым бараном», из-за чего я пришла в ярость. Ударить ее я не могла, потому что руки у нее были длиннее и она запросто могла держать меня на расстоянии, так что я укусила ее за руку. Тогда ее мать, Иста, ставшая и мне приемной матерью, выругала меня и отшлепала. Я окончательно разъярилась и убежала в заднюю часть дома, в тот темный коридор, открыла заветную дверь в стене и вошла в тайную комнату. Я решила оставаться там, пока Иста и Соста не начнут думать, будто я убежала из дома, а на улице меня схватили альды и продали в рабство. И вот теперь, когда я навсегда исчезла из их жизни, они, то есть Иста и Соста, пожалеют, что зря бранили меня и по-всякому обзывали, а потом еще и отлупили! В общем, я влетела в тайную комнату – разгоряченная, разгневанная, зареванная – и там, в странном ясном свете, лившемся с потолка, увидела нашего Лорда-Хранителя, который стоял у стола с книгой в руках.

Он тоже сперва немного растерялся – от неожиданности. Потом подошел ко мне, и лицо у него было сердитое; он даже руку поднял, словно собираясь меня ударить. Я застыла ни жива ни мертва. Я даже дышать не могла.

Но рука его так и повисла в воздухе.

– Мемер! Ты как сюда попала?

Он посмотрел туда, где обычно открывается дверь, но там, конечно, уже ничего не было, только стена.

А я по-прежнему не могла ни дышать, ни говорить.

– Неужели я оставил дверь открытой? – сказал он, сам себе не веря.

Я покачала головой.

И, собравшись с силами, прошептала:

– Я сама умею открывать.

Он был не просто удивлен, он был потрясен, но вскоре, похоже, успокоился и произнес только одно слово:

– Декало.

Я кивнула.

Декало Галва – так звали мою мать.

Я бы рассказала о ней, но я ее почти не помню. Точнее, помню, но не могу выразить это словами. Я помню, как она крепко обнимала меня, тискала и как от нее чудесно пахло в темноте, когда я уже лежала в кровати; помню грубоватую красную ткань ее платья и ее голос, которого я никак не могу, не умею расслышать, но он все же где-то рядом, чуть-чуть за гранью слышимости. Мне раньше всегда казалось, что если затаиться и изо всех сил прислушиваться, то я смогу наконец ее услышать.

Она была настоящей Галвой – и по крови, и по тому месту, где родилась и жила всю жизнь. Она считалась домоправительницей Султера Галвы, Главного Хранителя Дорог Ансула, а это весьма почетная и ответственная должность. В Ансуле не было ни серфов, ни рабов; все мы считались его равноправными гражданами, свободными людьми, и у каждого был свой дом. А Декало, моя мать, отвечала за всех, кто работал и жил в Галваманде, и распоряжалась всем нашим хозяйством. Иста, наша стряпуха, впоследствии ставшая мне, можно сказать, второй матерью, любила рассказывать нам с Состой, каким огромным было тогда это хозяйство и о скольких людях приходилось заботиться Декало. Самой Исте каждый день выделялось два помощника для работы на кухне, а в случае визитов особо уважаемых гостей или во время торжественных обедов Декало присылала на кухню еще троих; только уборкой дома постоянно занимались четыре служанки, которым всегда мог помочь особый человек, мастер на все руки; а на конюшне царствовал конюх со своим помощником, и там было тогда восемь лошадей – на одних ездили верхом, а других запрягали в повозки. В доме также проживало немало всяких родственников и стариков. Например, над кухней жила мать самой Исты, а мать Лорда-Хранителя – в покоях наверху, которые так и назывались Хозяйскими. Сам же Султер Галва все время пребывал в разъездах по стране, посещая один город за другим и встречаясь с другими Хранителями Дорог. Ездил он то верхом, то в карете с сопровождением. В западном дворе тогда находились кузница и каретный сарай, и над сараем было устроено жилое помещение, где разместились кучер и форейтор, всегда готовые выехать с Лордом-Хранителем по какому-нибудь неотложному делу. «В добрые-то старые времена у нас в доме все были вечно заняты, работа так и кипела! – вздыхала Иста. – Ах, добрые старые времена!»

И я, пробегая по молчаливым коридорам мимо полуразрушенных комнат, всегда старалась представить себе эти старые добрые времена. Я подметала крыльцо и воображала, что готовлюсь к приему гостей, которые вскоре войдут по этому крыльцу в дом, и на них будут прекрасные одежды и чудесная обувь. Я часто поднималась в Хозяйские Покои и представляла себе, как эти комнаты выглядели, когда были чисто убранными, теплыми, с красивой мебелью. Там можно было бы встать на колени, устроившись на удобном приоконном сиденье, и смотреть в чистое окошко с тесным переплетом на городские крыши и далекую гору, высившуюся над этими крышами.

Название моего города, столицы одноименного государства, занимающего почти все восточное побережье пролива, – Ансул, что означает «глядя на Сул». Сул – это высокая гора,

самая последняя и самая высокая из пяти главных вершин горной страны Манвы, и находится она по ту сторону пролива. Из приморской части города и из всех обращенных на запад городских окон видна белоснежная вершина Сул, точно плывущая над водой и вечно окутанная облаками, которые парят в вышине, подобно снам или мечтам.

Я знала, что когда-то наш город называли Ансул Мудрый или Ансул Прекрасный из-за его университета и великолепной библиотеки, из-за его дивных башен и прелестных внутренних двориков, украшенных ожерельями аркад, из-за его каналов и многочисленных горбатых мостиков над ними, из-за тысяч маленьких уличных храмов, сделанных из мрамора. Однако Ансул моего детства – это, увы, город руин, страха и голода.

Государство Ансул было протекторатом могущественного Сундрамана, который вел постоянные приграничные войны с Лоаманом и не мог выделить особое войско исключительно для нашей защиты. Хотя, по правде говоря, Ансул, богатый и товарами, и пахотными землями, в течение долгого времени никаких войн ни с кем и не вел. К тому же наш торговый флот был достаточно многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы противостоять нападениям пиратов на южное побережье Ансула, а с тех пор, как Сундраман навязал нам союз с ним – что случилось еще в незапамятные времена, – нам и на суше никто более не угрожал. Так что, когда армия альдов, народа, населявшего пустыни Асудара, вторглась на нашу территорию, война охватила холмы Ансула, как лесной пожар. Вскоре альды ворвались в столицу и смерчем пронеслись по улицам, убивая, грабя и насилуя. Моя мать, Декало, в один из тех дней возвращалась домой с рынка, и солдаты поймали ее и изнасиловали. Но горожане напали на этих солдат, и во время ожесточенной схватки матери удалось бежать, и затем она сумела добраться до Галваманда.

А жители Ансула продолжали мужественно сражаться с захватчиками, отбивая улицу за улицей, и в итоге изгнали их из города. Но альды не ушли, а встали лагерем под городскими стенами. Осада Ансула продолжалась целый год. В тот самый год я и появилась на свет. А потом из восточных пустынь пришла вторая армия альдов, еще более многочисленная, и город был взят штурмом.

Альды полностью подчинили его себе. И первым делом их жрецы привели солдат к нашему дому, который они называли «логовом дьявола». Солдаты арестовали Лорда-Хранителя и увели с собой. А тех обитателей Галваманда, кто пытался оказывать им хоть какое-то сопротивление, они перебили. Заодно они убили и всех живших там стариков. Исте, правда, удалось сбежать, и она скрывалась у соседей вместе с матерью и дочкой, а мать Лорда-Хранителя убили и тело ее сбросили в канал. Молодых женщин забрали в рабство и отдали на потеху солдатне. А моей матери удалось спастись только потому, что она вместе со мной успела спрятаться в тайной комнате.

В той самой, где я сейчас и пишу эту историю.

Не знаю, как долго она там пряталась. Какую-то еду она, должно быть, сумела прихватить с собой, а вода там есть. Альды обыскали и разграбили весь дом. И сожгли все, что могло гореть. А потом солдаты под предводительством жрецов чуть ли не каждый день возвращались в Галваманд, все больше его разрушая, и все рыскали в поисках книг, а также рассчитывая еще чем-нибудь поживиться или, может, обнаружить следы «проклятых слуг дьявола». В итоге моей матери пришлось-таки выбраться ночью из тайной комнаты и искать убежища в соседнем Камманде. Там она пряталась в подвале вместе с другими женщинами и как-то умудрялась поддерживать жизнь и в себе, и во мне, хотя совершенно непонятно, где и как она добывала еду. А потом налеты и грабежи постепенно прекратились, альды перестали крушить дома и почувствовали себя в городе хозяевами. И тогда мать вернулась в наш дом, в Галваманд.

К этому времени там были сожжены все деревянные пристройки, а мебель переломана или украдена; даже деревянные половицы были вывернуты и разбросаны как попало. Но основная часть дома, сложенная из камня и крытая черепицей, не особенно пострадала. Хотя Гал-

ваманд – самый большой дом в нашем городе, никто из альдов в нем жить не пожелал, считая, что это обитель демонов и злых духов. Понемногу Декало все снова привела в порядок – разумеется, по мере своих сил и возможностей. Вскоре вернулись из своего убежища Иста с Состой, да и наш старый конюх, горбатый Гудит, мастер на все руки, тоже, к счастью, уцелел. И все они дружно принялись за работу. Это был их дом, и они сохранили верность ему и друг другу. Ведь здесь обитали их боги и тени их предков, которые хранили их, осеняли своим благословением, дарили им сны и мечты.

Прошел целый год, прежде чем Лорда-Хранителя выпустили из тюрьмы. Точнее, выбросили прямо на улицу. Голым. Идти он не мог – во время пыток ему переломали ноги, – так что попытался ползти. Он полз по улице Галва от бывшего Дома Совета к Галваманду, когда его подобрала какие-то горожане и принесли домой. А уж дома, конечно, нашлось кому о нем позаботиться.

Жили они очень бедно. Все жители Ансула были тогда бедны, ведь альды их прямо-таки до последней нитки обобрали. Но как-то существовать они все-таки умудрились, и благодаря заботам моей матери Лорд-Хранитель начал понемногу набираться сил. А на третью зиму после осады, холодную и голодную, случилось несчастье: Декало тяжело заболела лихорадкой, а лекарств, чтобы вылечить ее, не было. И она умерла.

Иста заявила, что теперь она будет мне вместо матери, и принялась обо мне заботиться. Рука у нее, правда, была тяжелая, да и нрав бешеный, но мать мою она очень любила, так что и ко мне старалась относиться как можно лучше. Я рано научилась помогать ей в работе по дому, и мне это даже нравилось. В те годы Лорд-Хранитель почти все время болел и очень страдал от болей в переломанных руках и ногах и от прочих последствий тех пыток, которые превратили его в калеку, и я очень гордилась, что могу ему прислуживать. Даже когда я была еще совсем маленькой, он предпочитал, чтобы прислуживала ему я, а не Соста, которая вообще терпеть не могла работать и вечно все роняла, теряла и разбрасывала.

Я знала, что осталась жива только благодаря тайной комнате, которая спасла нас с матерью, когда в наш дом пришли враги. Должно быть, именно мать и рассказала мне об этом, а потом и показала, как открыть потайную дверь; а может, я просто не раз видела, как она это делает, вот и запомнила. Во всяком случае, я словно видела перед собой те буквы, которые мне нужно было начертать в воздухе, но никак не могла разглядеть руку, что эти буквы для меня писала. И моя рука сама собой следовала заданному рисунку, и передо мной открывалась дверь, и я входила туда, где, как мне казалось, бывала теперь лишь я одна.

Пока в один прекрасный день не столкнулась там с Лордом-Хранителем. Мы долго стояли, не сводя друг с друга глаз, и рука его была поднята, словно для удара. Потом он опустил руку и спросил:

– Ты здесь и раньше бывала?

Я онемела от ужаса и в ответ лишь молча кивнула.

А он вовсе и не сердился – он и руку-то поднял, чтобы ударить незваного гостя, врага, а совсем не меня. Он никогда на меня не сердился и всегда бывал со мной удивительно терпелив, даже если ему было очень больно, а я этого не понимала и вела себя глупо, бестактно и нерасторопно. Я полностью ему доверяла и никогда его не боялась, и все же он вызывал в моей душе какой-то благоговейный трепет. А тут вдруг в нем, казалось, вспыхнул гнев. Глаза его сверкали огнем, как в те минуты, когда он возносил хвалу Сампе-Разрушителю. Глаза у него очень темные, и тот огонь, что вспыхивал в их глубине, был похож на раскаленную лаву, скрытую толщей темного камня. Он неотрывно смотрел на меня.

– Еще кто-нибудь знает, что ты сюда ходишь?

Я только головой мотнула.

– Ты кому-нибудь рассказывала об этой комнате?

Я снова мотнула головой.

– Ты знаешь, что никогда и никому не должна о ней рассказывать?

Я кивнула.

Но он явно ждал более внятного ответа.

Я понимала, что должна что-то сказать. И, набрав в грудь воздуха, торжественно произнесла:

– Я никогда и никому об этой комнате не скажу. И пусть свидетелями моей клятвы станут все боги нашего дома, и все боги нашего города, и душа моей матери, и души всех тех, кто некогда жил здесь, в Доме Оракула!

На лице Лорда-Хранителя отразилось легкое изумление. Немного помолчав, он шагнул ко мне, коснулся пальцами моих губ и сказал:

– Свидетельствую, что клятва эта была дана от чистого сердца. – Затем повернулся и положил руку на край маленького алтаря, зажатого книжными шкафами. Я, разумеется, последовала его примеру. А он легко взял меня за плечо, чуть повернул к себе и, внимательно глядя на меня сверху вниз, спросил: – Где же ты научилась такой клятве?

– Я ее сама сочинила, – сказала я. – Чтобы клясться в том, что всегда буду ненавидеть альдов, и обязательно выгоню их из Ансула, и всех их убью! Если смогу, конечно.

Так я ему все и рассказала. Выдала и свой самый-самый тайный обет, и свое самое сокровенное желание, о которых никогда и никому ни слова не говорила, и после этого разразилась слезами – не гневными, но чрезвычайно бурными, и так рыдала, что меня всю трясло; казалось, душа моя рвется на куски.

Лорд-Хранитель с огромным трудом опустил на колени – хотя колени у него после пыток почти не гнулись – и обнял меня. И я еще долго плакала у него на груди. А он молчал, ни словом меня не утешил, только крепко прижимал меня к себе, пока рыдания мои сами собой не прекратились.

И на меня сразу навалилась ужасная усталость, и мне стало так стыдно, что я отвернулась от него и, сев прямо на пол, уткнулась лицом в колени.

Я слышала, как он с трудом поднялся и, прихрамывая, прошел в темный конец комнаты. Потом вернулся и сунул мне в руку мокрый платок – видно, намочил его в том источнике, звук которого постоянно доносился откуда-то из темноты. Я приложила платок к глазам и несколько минут подержала так, а потом тщательно протерла влажной прохладной тканью все лицо.

– Прости меня, – сказала я. Мне было ужасно стыдно, что я невольно потревожила его, явившись сюда, да еще и устроила истерику. Я всем сердцем любила его и очень уважала, и мне, конечно же, хотелось проявить эту свою любовь, помогая и прислуживая ему, а не пугать его понапрасну своими слезами.

– Ничего, Мемер, нам всем есть о чем поплакать, – тихо сказал он. И я, взглянув на него, поняла: и он тоже плакал вместе со мною. По глазам и губам всегда ведь можно догадаться, что человек плакал. Меня просто потрясло то, что я вызвала у него слезы, и одновременно мне отчего-то стало легче и уже не так стыдно. А он, помолчав, прибавил: – Здесь для этого как раз самое подходящее место.

– А я тут почти никогда не плачу, – сказала я.

– А ты вообще почти никогда не плачешь, – сказал он.

И я была страшно горда, что он это заметил. А он спросил:

– Чем же ты обычно занимаешься в этой комнате?

Это был очень трудный вопрос, и я ответила не сразу.

– Я просто прихожу сюда, когда мне становится совсем уж невтерпёж, – сказала я. – А еще мне нравится рассматривать эти книги. Это ведь ничего, что я на них смотрю? Если я в них иногда заглядываю?

Он снова помолчал и совершенно серьезно ответил:

– Ничего. И что же ты в них находишь?

– Я ищу в них те штучки, которые мне нужно нарисовать в воздухе, чтобы дверь открылась.

Я еще не знала слова «буквы».

– Покажи мне, – попросил он.

Я могла бы изобразить эти знаки в воздухе пальцем, как делала, открывая дверь, но вместо этого я встала и вытащила с нижней полки шкафа ту большую книгу в темно-коричневом кожаном переплете, которую про себя именовала «Медведь». Я открыла ее на первой странице, где были написаны слова (по-моему, я действительно понимала, что это слова, а впрочем, может, и нет). И указала ему те значки, с помощью которых открывала дверь в тайную комнату.

– Вот этот и вот этот... – шептала я. Потом бережно положила книгу на стол – я всегда очень бережно обращалась с книгами, особенно когда раскрывала их и смотрела, что у них внутри. А он по-прежнему стоял рядом и смотрел, на какие значки я указываю пальцем, – все они были мне хорошо знакомы, хоть я и не знала ни их названий, ни того, как они звучат.

– Что это за знаки, Мемер?

– Это письменные знаки.

– Значит, эти письменные знаки и открывают дверь?

– Да, наверное. Только, чтобы дверь открылась, их нужно начертать в воздухе и в особом месте.

– А ты знаешь, что такое слова?

Я не совсем понимала, о чем он спрашивает. Вряд ли я тогда знала, что слова, которые пишут, точно такие же, как и те, которые произносят, что это всего лишь два разных способа сделать одно и то же. Я молча покачала головой.

– Ну вот что, например, делают с книгой? – спросил он.

Я опять промолчала, не зная, как ответить.

– Ее читают, – сказал он и вдруг улыбнулся, и лицо его сразу все словно осветилось. Мне до сих пор крайне редко доводилось видеть, как он улыбается.

От Исты я много раз слышала о том, каким счастливым, гостеприимным и великодушным был когда-то наш Лорд-Хранитель, как весело проводили время в большой столовой его гости, как он смеялся над детскими проделками маленькой Состы. Но я-то всегда помнила его таким, каким он стал теперь: человеком, которого подвергли страшным пыткам, которому железными брусьями раздробили колени, вывернули из суставов руки и переломали все пальцы. Человеком, у которого зверски убили всю семью, который мучительно страдает от нищеты, боли и стыда, сознавая, что его народ потерпел поражение и оказался поработленным...

– Я не умею читать, – сказала я. И быстро прибавила, заметив, как меркнет его светлая улыбка: – А можно мне этому научиться?

Похоже, своим вопросом я сумела еще немного задержать эту улыбку. Потом он отвел глаза и заговорил со мной совсем не так, как говорят с ребенком:

– Это опасно, Мемер.

– Потому, что альды боятся книг? – спросила я.

Он снова посмотрел на меня:

– Да, боятся. И должны бояться.

– Но ведь в книгах нет никаких демонов или черной магии! – горячо возразила я. – Я-то знаю!

Он ответил не сразу. Сперва он долго смотрел мне в глаза – но не так, как сорокалетний человек обычно смотрит на ребенка девяти лет; казалось, его взгляд проникает мне в душу, оценивает ее и наши души соприкасаются. А потом сказал:

– Хорошо; если хочешь, я научу тебя читать.

Глава 2

Итак, Лорд-Хранитель начал учить меня читать, и училась я очень быстро, словно только этого и ждала и теперь была счастлива, как изголодавшийся человек, которому наконец-то дали пообедать.

Едва поняв, что такое буквы, я мгновенно их выучила и тут же начала складывать слова; не помню, чтобы при этом меня хоть раз что-то озадачило или заставило надолго задуматься, если не считать одного случая. Я сняла с полки большую книгу в красном переплете с золотым тиснением – эта книга всегда была одной из самых моих любимых еще с тех пор, когда я, не умея читать, называла ее «Красной сверкающей». Мне хотелось узнать, о чем же в ней говорится, попробовать ее содержание на вкус. Но из моей попытки ничего не вышло: я пыталась читать и не понимала ни слова. Я видела знакомые буквы, и они явно складывались в слова, только слова эти казались мне лишенными смысла. Ни одно из них ничего мне не говорило. Это была какая-то тарабарщина, ерунда, полная чушь! Я просто в ярость пришла, злясь и на эту книгу, и на себя; и тут в тайную комнату вошел Лорд-Хранитель.

– Да что с ней такое, с этой дурацкой книгой! – воскликнула я.

Он внимательно осмотрел книгу и сказал:

– Ничего. С ней все в порядке. Это очень красивая и хорошо написанная книга. – И он вслух прочел мне довольно большой кусок этой тарабарщины. Звучало действительно красиво; было такое ощущение, будто в этих незнакомых словах, безусловно, таится какой-то смысл. Я нахмурилась. – Это аританский язык, – пояснил он. – На этом языке в наших краях говорили когда-то очень давно. Это древний язык всего нашего мира. От аританского произошел и тот язык, на котором теперь говорят в Ансуле, и многие другие. Некоторые из его слов, кстати, не так уж и сильно изменились. Посмотри-ка вот сюда, например. Или вот сюда. Ну как? – И я вдруг поняла, что слова, на которые он указывал, отчасти мне знакомы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.